

*Прадеду Спиридону, деду Мефодию, бабушке
Олёне, отцу Константину и всем сродникам.
Ушедшим—царствия небесного, живущим—зем-
ной благодати. Господи, прости меня, грешного*

*Молчал, задумавшись, и я,
Привычным взглядом созерцая
Зловещий праздник бытия,
Смятенный вид родного края.*

Николай Рубцов

Утро

Кто я? Зачем? Откуда и где?

*Ветер уносит мусор. Всю грязь, что оставили
мы. Уносит, накрывает листвой и пеплом. И небо
заштриховано в серый. Тишина, как насупленная
трясина, поглощает всё безвозвратно. Не осту-
пится бы, не попасть в эту невыносимую явь.*

*Там булькает и всхлипывает иная жизнь. Там
не ждут и туда не зовут. Кто же затеял это
смадное варево? Я помню, когда открыл глаза, бы-
ло голубое небо и радуга из конца в конец. И цвет,
и запахи, и звуки. Где всё, что Ты нам подарил?..*

(Из «Дневника постороннего»)

— Деда, попробуй ещё. Вку-усно.

— Я уже пробовал, Санька. Старикам мало надо.
Они едят по чуть-чуть и спят коротенько.

— А силы откуда? Ты же говоришь: ешь кашу.

— О нас сам Господь заботится.

Санька молчит, смотрит в потолок: где-то там, далеко-далеко, Господь... Он знает, дедуля рас-
сказывал. Правда, что это за чудо, он прояснить
не может. Вот дед, мамка, проклятый детский
садик—это да. Наверное, как папка, которого
он никогда не видел и даже имени не знает. Но
подрастёт и пойдёт в школу—и тогда точно все
загадки раскроются, распахнётся дверца в потай-
ной мир взрослой жизни...

Санька, Санька, думает Дед, сколько же смеха
и слёз тебе ещё предстоит. Сидишь—чисто ангел,
крылышки аккуратно сложил и тортика пред-
лагает.

Дед встаёт, идёт на балкон покурить. Зойке сего-
дня на смену, и она встала рано. Подошла к отцу
разбудить, но он уже не спал. Лежал с закрытыми
глазами и, как всегда, видел речку, похожую на

девичью косичку, вьющуюся меж кустов черё-
мухи и тальника, хлипкий мосток, на котором
обязательно греется стрекоза либо бабочка, и
они с соседом Колькой уют на ольховый прут
ельчииков, сверкучих на солнце, как начищенные
бабушкины ложки. Это её последняя фамильная
гордость, с тёмным вензелем на серебре «ЗА», что
значит Золотарёв Александр, это будет уже пра-
прадед Санькин.

Саньку же никакие звуки не будят—ни бормо-
тание тупого телевизора, ни хлынувшая, как дуру,
в унитаз вода, и только на голос Зойкин, словно
на сигнал тревоги, он резко выпучивает глазёнки
и, согнув одну ногу, скидывает одеяло. И сегодня,
уже у порога, Зойка трескуче крикнула: «Папа, я
мобильник забыла, подай!»—а того будто не знает,
что сынуля встрепенётся и покинут его тёплые и
пушистые, как облачка, сны. Знать-то она знает,
но сын от неё уже далеко. Она на работе, её ждёт
салон красоты, всякие фитнесы-х...итнесы, бас-
сейны, покраска волос и ногтей—короче, всё, чем
бабы надеются вовлечь мужика в липучие сети,
хотя бы в койку, но больше всё-таки друг перед
другом выдрючиваются: ах, какая я, я первая, а
ты, дура, в лучшем случае будешь второй.

Ну вот, Зойка, прижав к силиконовой груди
мобилу—скорее, это чёрный кирпичик прильнул
кнопками к родной химии, понеслась на своей
шулушпайке в омут гламура.

Санька отказался от нормальной еды, не глядя
пихает в рот куски моего любимого, вчера купил,
черёмухового торта, а глазами—в экране телека.
Очередное западное дерьмо, мультик про каких-то
уродцев. Зойке в детстве повезло, успела посмо-
треть про нормальных людей и зверушек.

Это только утро, впереди день, потом вечер,
ночь... Чем-то занять надо.

Сегодня первыми во двор пришли бездом-
ные. Бичи, бомжи—как их только не называют.
Мне больше нравится—«танкисты», человечней
как-то, уважительней. «Танкисты»—потому что
живут внизу, под чугунными люками канализации
и отопления. «Танкиста» от просто бездомного
бедолаги отличить легко, у «воина» ногти все-
гда чёрные от запёкшейся крови. Крышка-то—
о-го-го, как шмякнет по пальцам! Если поддатый

и не справишься с ней, как со строптивой бабой, что по яйцам может захватить, не по злобе, конечно, а так, чтобы знал... Вот и люк тоже: просто, мол, пить надо меньше.

Они идут вдвоём. У него сумка ёмкая, у неё палка с крюком на конце, своего рода удочка, а баки с мусором—как лунки во льду. Ловится тут всякая полезность. То одежка пригодная, то пакетики со снэдью. Самое же востребованное, «валютный» товар—бутылки и пивные банки. Ещё и все «лунки» не обошли, а сумка уже полнѐхонька. Теперь наши гости, окрылённые, понесут добычу за угол изогнутой буквой «С» девятиэтажки, где баба Дуня обменяет стеклотару и алюминиевую жесть на пластиковую бутылочку технаря. И у них теперь день начнётся правильно, жить можно. В «танк» не пойдут, впереди смрадная ночь среди попѐрдывающих труб, поэтому в скверик укромный, помечтать, вспомнить про любовь и всё остальное.

Сегодня бродяжки опередили таджиков. Избилло и Баргигуль то ли проспали, то ли детки их малые чем тормознули, но Баргигуль, заглянув в один бак, дальше не пошла, а тоже взяла метлу, совок и с другого конца начала чистить двор. А так-то они тоже, может, чем поживились бы. Несладкая у них жизнь в России.

Таджики всё делают тщательно, аккуратно, не то что рваной тряпке—каждому окурку кланяются. Русский так только дачу ненаглядную обихаживает. У таджиков иначе, на это хлебное место очередь земляков, и ничего, что часть зарплат уйдѐт ржыему начальнику. Хоть и прохвост он, клейма негде ставить, но денежку какую-никакую платит. На родине, там, где алыча, солнце и дыни, и этого не натрудишь. А вот была бы страна, Союз Советский, думает Избилло, всё было бы не так. Он бы сейчас в любимой тибетейке, поджав под себя ноги, швыркал терпкий чай из пиалы, Баргигуль в ярком шёлковом халате улыбалась бы ему загадочно, а он, глядишь, и сотворил бы ещё одного избиллѐнка.

Непонятно: и куда Аллах смотрит? Одним дал всего с избытком, а у других забрал даже Родину. Может, и правы были прадеды, когда от большевиков отбивались. Странное существо человек: напели ему, наговорили сладостей, и он поддался искушению. А ведь зараза и всё нечистое зверя отталкивает, а человек как бы и отмахивается, но влазит в смердящее. Где полегче да пожиже ищет. А это же только на небе. Выходит, тьма сильнее света—так, что ли?..

Оглядывается Избилло, не слышно метлы Баргигуль. Он бросает инструменты и торопливо идѐт к дальнему подъезду. Жена о чём-то беседует с бабушкой с верхнего этажа. Странная старушонка, махонькая такая, семенит до магазина и обратно, больше её и не видно; другие бабки на

лавочке семечки щѐлкают да похохатывают друг над дружкой, а эта—будто наказанная. Избилло остановился, слушает.

— Ты, миленькая, не сердись, сейчас пакет вынесу, там одежка на детей. Внуки повзросли, невестка говорит—выкинь, а оно ж почти новое, дорожшее. У меня рука не поднимается, ты посмотри, может, что и согдится. Они разбогатели, им хоть всё повыкидывай. Разве можно так? И сын тоже лопоухий, слова поперѐк не скажет. Бизнес у него, бизнес всё отобрал, обсерется с этим бизнесом.

Избилло не привык от русских слышать доброе, могут урюком назвать, это ещё ничего, урюк вкусный. Иногда такую гадость скажут, кусок дерьма в душу сунут, и всё это равнодушно, походя, не то что ударить—словом отвечать сил нету. Только дома на коврике он пожалуется Аллаху.

Была страна, и всё было хорошо. Мы им хлопок, они нам комбайны. Ладили как-то.

Заурчали, загудели, завоняли соляркой оранжевые КАМАЗы. Мусорные баки с грохотом, прерываемым матом, преворачивают в ненасытное брюхо. У каждого на борту красиво, с картинкой, написано: «Рециклининг»,—хотя можно же просто: мусор или отходы. Для нас теперь это типа провинциально, надо по-западному, обязательно не по-русски. Одна химера сменила другую. Чуден ты, человек, и простодыр. Сказали тебе «земля народу», поверил, как неразумное дитя,—в колхоз.

Навсегда запомнил: бабушка рассказывала, комиссары в колхоз всех тащили, дед Александр (в честь которого назвала Зойка сына, внука моего, надежду и солнышко моѐ) упирался до последнего, ведь выводок немалый, одиннадцать дитѐнков, и жена брюхатая, со дня на день ещё принесѐт. Но шуганули комиссары, враз раскулачили. Дед двух коровѐнок, нетель, бычка да кобылу всех одной верѐвкой опутал и потащил в колхоз «Светлый путь». Бабуля упала в ноги, как подбитая птица, раскинула руки:

— Ты что творишь, сатана?

Никогда на деда так не ругалась, привечала хоть пьяного, хоть сердитого.

— У тебя детей как курей в курятнике, нарожал, а чем кормить будешь? Не пущу...

— Власть советская всех прокормит,—дед оттолкнул махонькую Олѐну, она кинула ему вслед горсть дорожной пыли и беззвучно заплакала.

Как и предугадывала бабушка, за год колхозники всё подѐли, а будущим летом засуха, неурожай. Словно убрал Господь свои ладони над деревней Притычка, наказал за неразумное бесовство, и засыпали они закаменевшим на нещадном солнце землицей последыша, Олѐнушку, в честь матери наречѐнную. От голода дитя в Небо ушло, это хоть утешало, не в холодную твердь, а к ангелам чистым. Может, замолвит там словечко за ослеплѐнных

комиссарами бестолковых взрослых. Но и небо в тот тяжкий день бабушке казалось как слюда — равнодушным и колким.

Господи, за что же ты нас так? Когда мы поймём и научимся не идти вслед за чертями, а жить своим умом? Ведь раньше как было: если и оступишься, всегда хоть сосед да поможет. А тут, в артели, где все гуртом, стадом, кому ты нужен? Вперёд надо, только вперёд, не оглядываясь. А слабаку пинка в жопу — и в сторону его, на обочину...

Одиннадцать своих Олёна подняла, девки всё получались, всего три сыночка. Алёшенька, старший, весь в отца, добровольцем рванул на немца и в первый же год погиб, Ванька на Дальний Восток ушёл японца добывать, а младший, Сашка, избежал кровавой судьбы, по годам не вышел, вот и получила бабуля звёздочку золотую «Матери-героиня». Маленькая, блескучая, словно жучок или шмель из сказки. Держал я её на ладони, и в горле першило. И это-то за все муки и слёзы от благодарного государства? Справедливо... Потом бабушке ещё пенсию колхозную платили, трудно даже сказать, семь рублей, но она и её не тратила, внучкам гостинцы переправляла.

Так вот постоишь утром на балконе, подымишь сигаретой и думаешь: а где же она, справедливость, чистота и любовь? Наверное, права была бабушка: только там, на небе...

Запахтели сытые КАМАЗы, ушли в сторону полигонов. Встретит их не только вороньё, но и люди. Они тоже люди, хоть и грязные, больные, завшившие, но с азартом и мечтою в глазах. Пока глаза не потухли, они — люди.

— Санька, ты бы поел чего.

— Деда, не хочу.

— Пойдём погуляем? Мульттики дурацкие кончились.

Высок наш дом для утреннего солнца, и двор ещё наполовину в тени. Беседочки-скамеечки поставлены с умом, уже прогреваются, обсохли от росы, и на них постояльцы, Мишка Бен Ладен и Васька Розенбаум. Оба пенсионеры, Афганом отмечены. Мишка не только контузен был, но ещё и ранен в позвоночник, ходит чуть косолапо и как бы вприсядку. Васька же, худенький хрипастый шустрик, орден принёс из чужих ущелий, подь... бывает иногда Мишку этим, но тот не обижается: моя «За отвагу» круче любой звезды, я семерых душманов положил, только потом кувыркнулся. — Дед, а подойди-ка! — кричит Васька.

Уже знаю зачем.

— А соточку слабó? С пенсии, клянусь Богом, отдам.

Мишка равнодушно смотрит в сторону, ковывает носком ботинка застрявшую в глине пробку. Его как бы не касается, это Васькины проблемы. С пенсии он, конечно, не отдаст, Таська на почту

с ним ходит и сразу пособие государево забирает. Тогда Розенбаум заводит свою задрипанную «шестёрку», если заурчит, и выезжает потаксовать. Но это бывает редко, только когда накопившийся долг дворовым бабкам стыдно и срамно не отдать. Иногда знаменитая «шестёрка», как дворняжка среди породистых «тойот», «хонд» и прочих «аутлендеров», не подаёт голоса, тогда к обеду вокруг неё собирается толпа хоть чуть мыслящих в технике мужиков. Это надо слышать: тут и вариаторы, и карбюраторы, и сраные бензоколонки, где вместо бензина вода с мочой.

— Бен Ладен, а ты что молчишь? — ищет поддержку Васька. — Отдадим же деду.

Мишка, может, и отдал бы, но его тоже лишили господдержки. Доча Оленька всё забирает: сдохнешь от этой водки, а хоронить тебя у меня не на что. Доча, правда, добрая и заботливая, набирает отцу на месяц дошираков разных, друг Васька бич-пакетами их называет, ещё банки три тушёнки побаловаться да чаю самого дешёвого, пыль чёрная с охвостьями. Жена от Мишки ушла, и года не вынесла его послевоенной дури и пьянства. «К гегемону, — беззлобно говорил Бен Ладен. — Я не в обиде. Он поздоровей меня, как вскочит на кобылку. А бабе что надо? Я своё уже отпахал, Родине долг отдал. Патриотический, заметьте...» — Дед, ну дак что?

Васька так на меня смотрит — не откажешь. Вижу, бьётся одна мысль в его серо-голубых глазах: тут же, рядышком, за домом, баба Дуня плесканёт им фунфырик, а зажевать и идти никому не надо, только руку протяни — дичка-вишенка уже созрела.

Аккуратно достаю серенькую сотку, поскромнее Саньке гостинец будет, да ничего, я и так его балую. Он раскачивается на качельке, что-то мурлыкает. Вот так и уйдёт детство-то на качельке-карусельке, да ещё и телевизор с видеком. А я-то уже шпендиком рыбу удил в ручье и картоху с мамкой копал, а если по ягоду возьмёт — пока бидончик не насобираю, никаких передышек. Зато потом дома вареники с клубничкой, со сметаной, не могу дожидаться, пока остынут, хватаю из чашки, как уголья из костра, и глотаю, аж слёзы из глаз.

Солнце поупиралось-поупиралось и высветило двор. Сейчас богачи-олигархи выйдут, захлопают дверцы «крузеров», «лексусов». Потом выскочат бабёнки их, одна краше другой, надухарятся так, что даже к нам доносит неземной аромат.

— Васька, а что ты к Петьке-мародёру не подошёл? Ещё бы сотенку стрельнул, — Бен Ладен провожает взглядом прогонистый, серебристый, как блесна на хищную рыбу, «мерседес».

— Да пошёл он, — Розенбаум сплёвывает. — Помнишь, он дал сотку, так теперь намекает, что с процентами...

Петьку мародёром за дело назвали. Был у него с компаньоном какой-то хитрожопый бизнес: то

ли алюминий воровали на заводе, то ли иномарки гоняли из Владика, скорее — и то, и другое. Копеечка немалая капала, но грохнули компаньона, да так, что бесследно исчез; поговаривают, сожгли его в ванне с жидким металлом. Так вот, Петька всю долю друга захапал, ни вдове, ни детям, как в старом анекдоте мудрый еврей завещал, «никому ни х...я», и точка. Жена компаньона прокляла Петьку, но таких людей не берут проклятия, они из другого теста, не костей и мяса, а дерьма копчёного, и не кровь там по жилам бегаёт — кислота самая едкая. На лицо Петькино и то смотреть страшно и неудобно, глаза большие, припученные, какие-то бесцветные, примороженные, непонятно, на тебя он смотрит либо поверх. Нос острый, как кончик тесака, будто лицо раскроил и вышел меж щетинистых щёк. Короче, мародёр — он и есть мародёр.

Розенбаум с Бен Ладеном встали, окурки — акуратно в урну, приучили их бабки дворовые к культуре, и двинулись за дом.

— Дед, да ты не думай ничего. Мы тебя достойно помянём.

— Я и не думаю. Пошли, Санька, в магаз за мороженым.

Сейчас и детки повысыпят, больше девочек, и Санька всё к кучерявеньким да с косичками жмётся. Вроде и не бабником я был, думает Дед, а он видишь как, наверное, в бату беспутного. Отец у внука, Толик Сиротинин, отбыл в неизвестном направлении, Зойка ещё с животом ходила. Толик был парень бравый, на гитаре брэнчал, стихи проникновенно читал, бородёнка интеллигентная, этим, наверное, и охмурил дочь. Многие девчонки тогда хотели чего-то неземного, это сейчас поумнели, присели на жопу, и главное, чтобы богатый был, а косой он или хромой — похеру.

«Ты целуй меня везде, я ведь взрослая уже», — вдруг заорало из какого-то окна. Проснулась чья-то взрослая уже, ткнула кнопку музыкального центра и пытается вспомнить, как и с кем уходила из ночного клуба.

А ведь было такое слово «любовь». Дед никогда не забудет, как прошибло его тысячью вольт, в глазах потемнело и заискрилось только от одного прикосновения к девочке, на которую и посмотреть-то боялся. А потом, по пути из школы, когда она разрешила взять себя под руку, он не шёл с ней рядом, он парил над землёй, казалось, чуть оттолкнись — и чудо совершится, они вознесутся туда, к облакам, а потом и к звёздам.

«Ты целуй меня везде», — всё надрывается из окна.

Толик Сиротинин — это по паспорту, а так-то он Бурмата, кличка под стать прощельге. Бурмата — значит, буровой мастер. Романтик Толя прибился как-то к геологам, кой-какое техническое образование имел и вот за три года освоил профессию,

но самое главное — научился на гитаре и отпустил бороду. Зойке всё пел, как он едет за туманом, и ещё очень душевную песню про капитана и таверну.

Сына Бурмата видел всего один раз. Санька ещё в коляске лежал. Зойка убежала за бутылочкой молока. Захныкал чего-то парень, возвращается мать, а в ногах у малыша здоровенная плюшевая панда. Соседка видела всё и сказала дочери: мужик бородатый положил игрушку и быстро умотал. По описанию поняла Зойка, кто это. Панда до сих пор у нас в кладовке, с вырванными глазами-пуговками. Спросил как-то у внука: может, выбросим слепого зверя?

— Пусть живёт, — стараюсь быть равнодушным, сказал Санька. — Жалко как-то...

Бурмата вообще парень находчивый, много я узнал про него, как-никак отец внука.

В экспедиции, например, Толик всех удивлял, что никогда не мыл за собой посуду. Если в партии была собака, он выставлял ложки-плоски на пол, и псина вылизывала их до блеска. Поэтому и не дежурил Бурмата никогда на кухне. Брезговали такой уборкой. Второй рацухой его было: если стояли на берегу речки, он клал в авоську тяжёлый камень, туда же и посуду, к ручкам поплавок, чтобы утром найти, — и на дно своё изобретение. Рыбёшки почище лаек выскабливали посуду. Короче, не любил утруждать себя Толик. А вот читать он любил: что бы ни подвернулось под руку — газета, журнал, книга, пока не отбросит тряпку в сторону, как протухшую половую тряпку, — бесполезно о чём-либо спрашивать.

— Ну и что нового узнал? О чём там? — пристают мужики.

— Тупость одна. Сопли.

— Зачем читал то?

— Смысл жизни ищущий...

— «Во как...

Вечерами, когда от гитары уже зудит в ушах, Бурмата мог часами упоённо говорить о чём угодно. О землетрясениях и буддизме, о кухне алеутов и писателе Хемингуэе. Памятью он обладал феноменальной. Спроси, как правильно заточить топор — скажет, чем отличается Христос от Аллаха — объяснит. Может, и привирал, да поди провьери. Мужики за это и прозвали его философом, а начальник партии, как-то прослушав монолог о бестолковом пути человечества ко всеобщему счастью, окрестил Толика в Диогена.

О Бурмате потом подробней расскажу, чудной был человек, бестолковый только. Всё ему Господь дал, но он ни к чему не приспособился. А может, искал себя слишком долго и в итоге напрочь потерял. С талантом мы все рождаемся, Дед давно это понял, Всевышний щедр на любовь, но сушим отпущенное небом своим бездельем, бесплодными метаниями, а надо трудом поливать непосильным, сцепив зубы. Вот и я сейчас, думаю

Дед, только на краю жизни это понял. Леня, как говорил отец, раньше нас родилась, да и соблазнов много, побрякушек порочных.

Разбрюзжался что-то я, возрастное. СБС, как говорит иногда мне Зойка,—старость, бл...ды, старость.

А вот про любовь ещё охота сказать. Она, как и талант, тоже ухода требует и труда. Друг у меня был, Царствие Небесное, художник Гумар. Сидим с ним как-то в мастерской, водку пьём, разговоры высокие о творчестве. Но он вдруг отошёл, сел в кресло и плачет.

— Ты чего? Что-то случилось, что-то не так?

— Понимаешь, не ощутил, а как пронзило: я уже никого не смогу полюбить, пусто вот тут,—стучит себя в грудь.

— Гумар, это водка.

— Нет, дружище, это картины, холсты из меня всё высосали. Послушай:

Холсты пусты. Художник
От них ушёл в кино.
Накрапывает дождик,
На улице темно.
Но вот какое дело:
С пустынного холста,
Как сказочная дева
Вдруг сходит пустота,
Как женщина, к которой
Он насмерть пригвождён.
Она раздвинет шторы
И молча подождёт.
И не проронит слова,
А он пришёл уже,
Чтобы сказать, что снова
Пустынно на душе¹.

Ты понимаешь? Ты хоть что-нибудь понимаешь?— и опять навзрыд.

— Гумар, ну пойдём выпьем, что ли...

— Я себя ненавижу, потому что не вижу себя,—так же неожиданно, как и заплакал, Гумар упал на диван и закрыл глаза.

Может, уснул, забылся в свинцовой тоске, а может, просто больше не хотел со мною.

Да, любовь, дружище, это уже сейчас я думаю, любить надо уметь. Люди не умеют любить, разучились. Они сторонятся её, нет, они даже боятся. Любовь может прорвать плотину их рациональных нагромождений и затопить всё. Пустыню злости и равнодушия, одиночества и печали, да просто вонючей скуки. Они не хотят оазиса, ведь он ждёт непосильного труда. Они подсознанием чувствуют: впереди могут быть не только пот и слёзы, но жёсткие удары и кровь. А любовь—божественный цветник, и лишь каждодневные усилия, без оглядки, без ожидания благодарности, вдруг приносят плоды. От вкуса их теряешь рассудок,

и уносит тебя в немыслимое пространство, туда, к звёздам, где до тебя, кажется, ещё никто не был. Там не нужны ни воздух, ни твердь, ты один наедине с любовью, ты в ней купаешься и с лёгкостью, как бы играя, создаёшь немыслимое, творишь чудеса. Ты—гений.

Цветник, оазис—они всегда ждут тебя. Равнодушная леня приводит в бессильное злоство, и всё зарастает мусором и паутиной. Змеи и саранча, склизкие черви и безжалостные шакалы, оглушающе по голове и как удавкой под дых, без разбора и причины, и ты отвечаешь тем же. Пусть всем будет больно, не только же мне. Мир без любви—мир смерти.

— Деда, что ты там бормочешь?—внук смотрит с недоумением и испугом.

— Да вот, Санька, хочу понять и никак не могу.

— А ты про кого? Про меня или про мамку?

— Даже не знаю, как ответить.

— Ты мне скажи. Я помогу.

— Если бы так легко было.

— Деда, деда, ты посмотри! Вон облако, похожее на улитку, и ползёт так же.

В голубом просторе и правда нехотя двигалась белая закорючка. Я не увидел в ней улитки, но раз внук так решил, значит, так оно и есть. Может и надо на все вопросы отвечать легко. Усилия, напряжение бессмысленны, они ломают и крошат в пыль не только тайну бессонницы, но и душевную целостность. Истина открывается легко, без всяких потуг и пота. Кряхтишь и рвёшь жилы, а это всего лишь вход в лабиринт тьмы. Отчаяние, разочарование, бессилие накрывают тебя свинцовым одеялом.

— Деда, а улитки не стало. Жалко, правда?

— Она в гости ушла. Не надо жалеть.

У тебя на небе будут ещё и слоны, и верблюды. Дед вздохнул и подумал: ведь скоро и я так же уйду в небытие или знать бы куда. Но зачем это знать? Уйду тихо, и хорошо бы, пусть бы хоть Санька обратил на это внимание.

А любовь, Деда опять понесло, так её, может, уже и нет. Кругом одна пластмасса. Она собою всё заменила. И не только любовь, но и честность, доброту, порядочность, искренность, сострадание, жалость, всю живость, казалось бы, вечных понятий. Теперь толерантность. Гада уже нельзя назвать гадом. А любовь не признаёт толерантности, её не прячут. Иначе она засохнет, как взошедший росток без дождя. Любви нужны солнце и звёзды, тихие облака и мерцание радуги, загадочное пение птиц и сгибающий могучие стволы ветер, запах прелой детородной земли и уносящаяся в неведомое листва, долгие звуки гудков паровозов и пароходов, весь свет мира, и только это даст

1. Стихотворение Анатолия Третьякова.

ей настоящую жизнь. Только тогда она будет не призраком из прошлого, не тщетной мечтой, не далёким парусом в зыбком тумане, а обростёт плотью, и тогда её надо будет нянчить, как самое долгожданное дитя.

— Деда, отпусти, — Санька вырывает ладошку. — Так больно держишь меня.

Как подхваченный ветерком, внук убегает, и Дед опять остаётся наедине с любовью.

Пусть будут и гроза с громом, и рушится всё, они только укрепят её. Любовь — жизнь во всей её полноте. Лишь она одна открывает нам глаза. И мы видим: истина всегда рядом. Любовь — это и наслаждение, и слёзы утраты, и благоухание розы, и горечь полыни, это тот студёный родник, от воды которого нестерпимо ломит зубы, словно во рту острый кристалл, но замри, вытерпи — и уйдёт душная до судорог жажда.

— Санька! Ты где? — растерянно озирается Дед.

Да вот же он, уже с какой-то лопухой, да же из-под кудряшек видно, девчонкой щебечет.

Вот старый пердун, тоже мне мыслитель, внука чуть не потерял.

День

Жизнь, рок, судьба уже бросили кости. Игра давно началась. Что выпало? Загадка навсегда. Тарахтят по жизни. Белое-чёрное, три-пять. Тарахтят, тарахтят. Это усталая телега по брусчатке. Возница, не открывая глаз, похлопывает вожжами по лоснящемуся крупу. Да и у лошади глаза зашорены. Понукания хозяина ей ни к чему. Она бредёт по наитию неизвестно куда и зачем. Только жирные мухи и назойливые слепни, у них есть заветная цель — живое и душистое тело лошади. Не ищи ответа. Всё бессмысленно. Ответа нет. Смирись. Но откуда же я и где? Кто и зачем?

(Из «Дневника постороннего»)

В «час Быка», как заговорённый, Дед просыпается, на циферблат можно и не смотреть. Долго лежит. Чего только не вспоминается. Сегодня вдруг пришло из детства. Как кино увидел.

До первого класса Дед жил в Притычке у дедушки с бабушкой. Послевоенное время голодным было, да ещё недоношенным он выскочил, синенький такой зародыш, в валенке на печи держали, только там не плакал да когда титька во рту.

Старики привыкли к нему, плакали, провожая к родителям в Ирбу, долго махали руками, будто птицами, следом хотели взнаться. До Нового года они дотерпели, а на каникулы приехали. Лошадёнка, сани, полные сена-соломы, тулупы овчинные, и на следующий день после ёлки тронулись.

— На учёбу не забудьте вернуть! — крикнул отец, а бабушка перекрестилась:

— Ну, с Богом.

Дедушка щёлкнул кнутом, и лошадка лениво потащила их в белое морозное пространство. До Притычки от райцентра километров тридцать, я, наевшийся от пуза бабушкиных шанежек со сметаной, задремал и открыл глаза, только когда на небе, как масленичный блин, засветила полная луна. Лошадка шла трусцой, вкусно скрипел снег, было необыкновенно уютно, казалось, все и всё меня любят-леют и больше ничего не надо, но вдруг сани резко дёрнулись и неожиданно ходко двинули. Лошадка скосила морду в сторону, всхрапнула от натуги, туда же повернулись и дедушка с бабушкой.

— Александр, гони, гони давай, — осторожно крикнула бабуля, и я успел заметить, как по краю поля проворно бежала стая собак, странно как-то, не скучившись, а одна за другой, ровным строем.

В лунном свете они были такими чёрными, будто их вырезали из погребного мрака. И двигались чудно, лап не было видно, они просто плыли по мерцающему снегу, не отставая, но и не опережая. И почему-то не лаяли. Всё это как во сне. Вдруг понял, хоть и дитя: волки! Бабушка увидела, что я вылез из-под тулупа, накинула его на меня: спи, внучек, спи, — я не узнал её всегда такого доброго голоса, в нём прорывались нотки смертельного страха, ужаса и даже обречённости. — Александр, ну гони же.

Лошадка всхрапывала, сани бултыхались на сугробах, бабушка то крестилась, то почему-то обнимала себя, как бы согреваясь, дед дико матюгался, кнут свистел, и я опять высунулся. Волков было семь. Уже умел не только считать, но и делить. Значит, на каждого по два, один будет в запасе. Про лошадку почему-то не подумал.

И тут пришло наше спасение. Притычка была совсем рядом, чуткие собаки надорвались лаем, в каждом дворе одна, а то и две, волки тоже услышали, нехотя забрали вправо и как бы растаяли. Молча появились и молча сгнули. Бабушка упала на меня, слышал, как дрожало её худенькое тельце, а может, это сердце хотело выпрыгнуть. И мне было не жалко себя, пусть бы съели, а вот дедушку с бабушкой я бы им не простил.

Дедушка достал кисет; пока сооружал самокрутку, половину табака рассыпал, пальцы не слушались, спички ломались. Но вот и дымком запахло, домом, уютом, казалось, уже и не было никаких волков. И только лошадка ещё мелко дрожала, хватала жадно снег и нет-нет да и косила морду в сторону покойно искрящегося горизонта. Исчезли страх и ужас, но она ещё не верила в чудо.

Дедушка встал с саней, погладил кобылу по крупу, похлопал:

— Что, Шалава, пересралась? Да и я взбзднул. Но ничего, Бог миловал.

Вот уже и светлые колонны дымов над деревней, гармошка пиликает, девки хохочут, Новый

год продолжается. Дома бабушка меня раздела и посадила не на сундук, как всегда. Мне он так нравился, открывался с мелодией, в нём было что-то таинственное. Только потом узнал: там хранились венчальное платье бабули и одежда, в которую обрядить на похороны её. Посадила даже не на лавку, а на край стола, чего никогда не позволяла: грех, мол, это, хлеб и пропитание на столе держим. Сама села на табурет и так смотрела на меня — я чуть не заплакал, такого проникающего взгляда у бабушки больше никогда не видел. Выручил дедушка, стукнул своим любимым фиолетовым графином в центр стола, налил почти полный стакан самогонки и, перекрестившись, выпил.

— Ну вот, внучок, спас нас Господь, это он тебя пожалел, ты ведь ещё безгрешен, — дедушка погладил меня по голове, как-то игриво ткнул ладонью бабулю в бок: — Поживём ещё, старушка, побалуемся...

Давно нет ни бабушки, ни дедушки, нет и сундука волшебного, и графина заветного, остались на память только фотографии. Одна в рамке всегда на стене. Бабуля, сухонькая, как осенний лист, почти невесомая, от рака умирала, а дедушка крепкий, твёрдо стоит рядом, борода, усы, да и на голове всё седое, серебристый нимб словно снизошёл на него. Бабушка уже не ходила, и он её носил на руках и в баньку ополоснуться, мыть там уже нечего было, и в туалет, иногда и в палисадник подышать под берёзой.

Все ждали её смерти, вот-вот. Дедушка отбил телеграммы, всех детей собрал, а когда приехал последним Иван с Дальнего Востока, была суббота, он натопил баньку, сложил как-то уж очень аккуратно исподнее, раньше это бабушка делала, неторопливо, чтобы и капли не уронить, наполнил чекучку самогоном, сальца нарезал, на ржаной ломоть положил, луковку, огурчик рядом на дощечку, посмотрел долго на всех детей, как бы решаясь что-то важное сказать, но только вздохнул, сунул под мышку кальсоны, рубаху-растопаху, из-под которой вся грудь могучая, словно мхом-ягелем с бело-голубым благородным отливом, видна, и осторожно, будто боясь потревожить нас, отворил дверь и как бы растворился в ночной мгле двора. Вот только же что был — и нету. Беззвучно всё и как-то нереально — не сон ли это?..

После ухода дедушки никто не решался ни заговорить, ни чем-то заняться, только пощёлкивание ходиков было отчётливо-громким, время будто оживало в этом тик-таке.

Часа два прошло, а дедушки всё нет. Бабушка из последних сил дремала, и Иван отправил младшего, Саньку, Сан-Саньча:

— Глянь, чего-то припоздился батя.

Сашка через минуту вбежал, раскинул руки, будто поймать кого-то хотел:

— Всё. Батяка того. Холодный.

Гурьбой, чуть не сбивая друг друга, кинулись.

Дедушка во всем чистеньком лежал на лавке в предбаннике. Руки правильно сложены на груди, глаза закрыты, и лицо спокойное; сейчас магюгнётся и отправит всех за стол, а сам бабулю бережно унесёт охолонуть и освежить.

Вязки кальсон у дедушки растерянно свисли, не успел; всё всегда успевал — и кобылу подковать, и короб тальниковый сплести, и самогонки нагнать на всю Притычку да на черёмухе её настоять, а вот тут упущение — болтаются уже не нужные вязки, не успел завязать.

Через три дня закидали угольно-чёрной землёй гроб, в изголовье крест, как и домовину, заранее дедушкой сработанный. Ладненькое всё, из берёзы свиловатой строганное, на крыше хранилось, где и скрипка его под стрехой висела.

Бабушка сидела на табурете ровно, как свечка; когда холмик подравняли, кивнула Сашке:

— Ты теперь за деда, посади меня рядом с ним.

Сан Саныч обнял тельце матери, всё время хранил молчание, а тут заплакал. Бабушка прижалась к нему, будто хотела раствориться в сыне. — Ваньке не дал Бог сынов, девки всё. Так ты постарайся, протяни род Золотарёвых, не обижай отца, — а уже на земле, тихо, наверное, только себе, сказала: — Погоди, милоч, маленько. Через годок приду к тебе.

Я запомнил этот апрельский день. Ровно через год пришла от матери телеграмма: «Приезжай, бабушка умерла...»

Ну вот и Зойка проснулась, зашумела вода в туалете, сейчас покурит, потом Саньку будить, кормить, в школу собирать. Вымахал балбес, скоро меня в росте обгонит, пятый класс заканчивает, а всё без мамки не может.

Пепельница у меня на балконе, табуретка, пускаю дымок в открытую фрамугу. Голуби, не меньше сотни, рядом с детской площадкой переминаются с лапки на лапку, терпеливо ждут Агнессу Ивановну. Старушка — бывший преподаватель немецкого, от одиночества обезумевшая; дочь удачно вышла замуж и давно живёт где-то в Германии; в этих бестолковых птицах нашла душевное упокоение.

Каждое утро Агнесса выносит голубям большую кастрюлю отваренной крупы, рассыпает горстями и бормочет что-то по-немецки. То ли обучает их языку, а может, другого они и не понимают. Птицы поначалу толкались из-за каждой съестной кучки, иногда доходило до драки, схватки были по-человечьи жестокими, с кровью, вот у воробьёв там или синиц такого не наблюдается, покультурней, что ли, они. Но и голуби с годами привыкли, остепенелись, соблюдали каждый свою очередь. Агнесса им всё говорит что-то, они довольно воркуют в ответ. Красота!

Мамки и бабули дворовые пытались бороться с дурной старухой, вся площадка детская засрана её питомцами. Но в дело вступились зоозащитники, в газетах, по телевизору Агнессу прославили. Короче, всё осталось по-прежнему. Голуби по утрам собираются на уроки немецкого, а когда добрая учительница уходит, срут где попало, и, кажется, даже старательнее чем прежде...

Бен Ладен уже почти два года как не появляется. Одному не интересно. Розенбаум совсем обезножел, даже за сигаретами внучку отправляет с запиской, благо его в магазине хорошо знают. Таджики и те недавно поменялись, Избилло с Баргигуль всё-таки вернулись на родину, и на смену им прибыли их родственники, приняли эстафету гастарбайтеров. Слово-то какое дурацкое, аж в горле от него першит.

С новыми таджиками Дед хоть и здороваётся, но ещё не познакомился. Во дворе Деду одиноко; когда Зойка на смене, он перечитывает любимые книги, каждый раз открывая в них что-то новое, бывает, и телевизор смотрит, но если дочь выходная, старается уйти. Музеи он изучил как Отче наш, в кинотеатре смотреть нечего, не принимает его организм современные фильмы. Ужасы, боевики да фантастика — ни вздохнуть, ни пёрнуть, ничего там нет для души, так он объяснил это себе. И поэтому чаще Дед покупает пару булок хлеба. Есть у него укромное местечко, где ни влюблённых, ни алкашей: там, где мутная от нечистот речушка Кача падает в девственно чистый по сравнению с ней Енисей, в зарослях тальника, крапивы, лопухов и дурнины всякой, лежит гранитный валун. Здесь как раз и проходит чёткая, будто прорисованная, граница соединения вонючей и хрустальной воды, человечья мерзость и божественное, — увидев это первый раз, подумал Дед.

А в воде, в каких-то пяти метрах от валуна, всегда плещется стая диких уток. Упитанные, наглые, отвыкшие от естественной нормальной жизни, они тут всегда, зимой и летом, весной и осенью; пройдёт пара поколений, и они, как одомашненные, летать разучатся. А как всё началось? С человека, с нас началось. Перегородили Енисей, он замерзать перестал. Уткам по осени далеко до тёплых краёв можно и не лететь, вот пара самых рискованных, а может, ленивых или больных, и осталась на открытой воде. А зимой Агнесса какая-нибудь нашлась, детишки жалостливые, вот и перегородили наши утки сибирские морозы. По весне прибыли их родные, близкие и знакомые, думали поминки справлять, а тут объятия и поцелуи. Вот и получилось, что человек точно стал царём природы, многовековой, вечный закон природы одной перегородкой на реке сломал. Не угомонился, вонючее водохранилище морем назвал, гадость свою как соплями приукрасил. Какое это море, если рыбы почти все передохли,

благородных так вообще не стало, а у тех, что как-то выцарапались, животы червями понабиты?

Дед сидит на гранитном булыганае, бросает уткам хлеб: глядишь, и я скоро Агнессой стану, — думает и матерится молча. А ещё он на этом камне поёт. У деда ни слуха, ни голоса, но рядом никого, и он мурлычет всё чаще что-нибудь из народного, что достаёт до нутра, выворачивает. Откуда песни приходят, он не помнит: может, у дедушки с бабушкой на гулянках слышал, может, у родителей. Гулянки тогда были не просто застольем с родными — собирались все друзья и соседи. Длились гулянки дня по три, из одного дома переходили в другой, каждый хотел блеснуть застольем. Сейчас встречи больше похожи на простую пьянку, часто и без повода, а тогда это Рождество, Пасха, Троица. Хоть и редко, но с весёлым размахом, впереди всегда гармонист, вокруг него разухабистые бабёнки с частушками. Даже если незнакомый случайно зайдёт, накормят, напоят, на прощанье обнимут, расцелуют, а потом ещё на пошолок, стремленную, на ход ноги. Бывало, такой гость и ночевать оставался.

А сейчас Дед никак не может вспомнить начало, где-то только с середины.

С сестрой мы в лодочку сажались
И тихо плыли по реке, —

почти шёпотом начинает он, —

Но вдруг кусты зашевелились,
Раздался выстрел роковой.

Дед бросает уткам очередную корку, птицы буровят вёслами лап воду, перекрякиваются.

Злодей пустил злодейску пулю,
Убил красавицу-сестру.

Песню прерывает рык самолёта, заходящего на посадку, и это всегда так, в самый неподходящий момент, Дед бы заматерился, но сейчас самое главное:

Сестра из лодочки упала,
Остался я совсем один.

Дед вдруг вспомнил Саньку, и так жалко стало внука — растёт безотцовщина.

Взойду я на гору крутую
И посмотрю на край родной.

И уже не поёт, просто утверждает как бы на вздохе:

Горит, горит село родное,
Горит вся родина моя!

А может, вы поэтому и не улетаете, уточки, боитесь покинуть родину, охраняете. Тяжело вам тогда — в мусоре да дерьме деток рожать...

Время незаметно перевалило за обед. Дед идёт в кафешку: стаканчик напитка, бутерброд — и можно домой. Санька уже вернулся со школы,

Зойка ускакала к подруге Аньке, худенькой и всегда ярко раскрашенной, как ёлочная игрушка, а может, и по магазинам пошопингует, как говорит она. С Анькой по прозвищу Анчоус, так они сложили её имя с долгой, но складненькой фигурой, они могут до вечера дуть пиво и бестолково щебетать о чём угодно. Санька же сидит в своей комнате за компьютером или болтает о чём-то с пацанами по скайпу, а если то хохочет, то матерится по-дедовски — значит, азартно играет в какую-нибудь стрелялку.

Сегодня у внука было тихо, может, уроки делает, но на него это не похоже. Дед никогда не видел Саньку за учебниками, хотя и двоечником он не был. Непонятное поколение растёт, не то чтобы чуждое, но какое-то другое. Однажды дед заглянул в тетрадь внука и слова не смог прочесть, каракуль на каракуле.

— Что за почерк? Чёрт ногу сломит.

— Это гены, деда.

— Какие ещё гены?

— Твои, не чужие. Ты посмотри на свой почерк.

А ведь и правда, Дед и сам иногда не мог разоб- рать, что и о чём рука начеркала. Вот с тех пор и не дают покоя гены эти самые. Кем был отец Санькин, что он из своего нутра передал парню? Не дай Бог таким же беспутным станет.

От нескольких коротких встреч с Бурматой Дед уже знал: Толик вырос в детском доме, как он туда попал — неведомо, и почему фамилию такую ему дали в этом казённом заведении. Кем только он не работал, скорее, перебивался: и у геологов, и грузчиком, и сторожем. А когда Зойка с ним познакомилась, именовал себя художником. Жил при Доме культуры, комнатку ему там выделили, она — и мастерская, и ночлежка. Художник Бурмата сочинял на листах двп рекламу о концертах, фильмах и других культурных мероприятиях. По вечерам в его закутке собиралась местная богема неудачников, как бы художники, как бы поэты и просто любители многозначительных бесед обо всём и ни о чём. Дымили сигареты, разливался портвейн, брэнчала гитара, где-то в тени незримо присутствовали мудрый Сартр и бесшабашно смелый Хемингуэй, завораживающий «Битлз» и грубовато отчаянный «Лед Зеппелин», развратный гений Дали и ушедший от всех мистик Босх, фантазёр Корбюзье и сумасшедший Гауди, — ведь только у них, там, за бугром, могло быть что-то большое и настоящее. Вся эта хрень, взбодрённая портвейном, и уложила на лопатки мою Зойку.

Только раскрыл любимого Гончарова, хотел в очередной раз прогуляться с Обломовым, посидеть с ним на диванчике, помолчать, побеседовать, вошёл Санька.

— Дед, у меня сложный вопрос.

— Отвечу, если смогу, — обрадовался, отложил книгу.

Внук так редко стал со мной разговаривать.

— Почему у мамки фамилия Золотарёва, у тебя — Золотарёв, а у меня какая-то непонятная, как кличка, — Бурмата?

Чего не ждал, но только не этого. Соврать не получится, правда нужна, а она не очень красивая. Мальчишка в этом возрасте почувствует фальшь, и доверие к себе потеряю. Зойка, конечно, знала настоящую фамилию Толика. Когда мы забирали внука из роддома, дочь уже на крыльце опередила мой вопрос:

— Папа, сына я назвала Сашей, Александром, в честь твоего дедушки.

— Вот как...

— Ты много о нём рассказывал. Таких людей уже никогда не будет. В сказках только, — она откинула уголок пелёнки, личико сына раскрыла и поцеловала. — Пусть вырастет таким же, — и посмотрела в небо, будто попросила, а может, вопрошала.

Белёсий след самолёта клубился и таял, крылатая точка исчезла, но звук не хотел оставлять нас, как с родными, долго прощался.

Где-то через месяц захотел глянуть в свидетельство о рождении внука и выругался невольно: «Александр Анатольевич Бурмата».

— Зойка, — уже вечером спросил. — Это что за х... ня?

— Ты о чём, папа?

— Почему у внука фамилия такая, погоняло, а не фамилия?

— Так надо, папа.

— Ты издаваешься, что ли?

— Тебе не понять. Пусть знает.

— Кто знает? Санька или Бурмата твой?

— Он не мой. И запомни, это я родила.

— Дура ты, больше никто!

А мне вот сейчас объясняй. А как? Может, она отомстить этим хотела беглому папаше? Хер объяснишь говнюку этому, ему на всё насрать.

— Понимаешь, Санька, — и рассказал всё, как было.

— Деда, а фамилию же можно поменять? Хочу как у тебя — Золотарёв.

— Конечно, можно. По закону у нас всё можно, — и тут я сорвался, наверное, накопилось. — По закону у нас можно врать, воровать, подличать, стучать друг на друга. Но только по-крупному, чтобы как с гуся вода. У нас теперь демократия и плюрализм, чтоб они неладны были. Державу просрали, Россию бы хоть сберегли. Ты оглянись, что творится, кругом одни говноеды. Либералами называются...

Санька смотрел испуганно, таким Деда он ещё не видел. Я замолчал, но внутри всё кипело. Куда, куда же мы катимся? Страну, как крысы, рвут на части, крошки вокруг и те тараканы подбирают. Ни слова, ни палки уже не понимают. Может, их бы не в тюрьму, а на кол. Чем выше цивилизация, тем больше откатываемся в преисподнюю. Вон вчера в новостях передали: брат родную сестру

изнасиловал и убил. Вот это новость! Да заткнуть-ся надо от такого стыда и позора. Ведь ни медведь, ни волк подобного не сотворят. Они звери, а мы тогда кто? Попустительство Господне, да и только. Где же так нагрешить-то могли? Либерасты ещё эти из-за каждого угла твякают: мол, мы уже совсем никто, пропащие, на коленях надо ползти на Запад и каяться. А за что каяться-то? За то, что предки наши мантулили всю жизнь как проклятые, себя не жалели, достойную жизнь старались поставить, в Гражданскую ослепли от революции и колошматили друг друга, потом немец расчётливый навалился? Либералы, они, понятно, за деньги или от злобы, что не удалось нап...здить безнаказанно, а мы-то чего молчим в тряпочку?..

Ну, Дед, раздухарился ты. Внук тихо ушёл к себе. Надо чаю покрепче и сигарету на балконе. Есть ещё кому за Россию побороться, да и ты, Дед, если что, костяшки бы в кровь разбил.

Во дворе никого, хочется вспомнить что-нибудь тихое, тёплое, как одеялом укрыться, зажмурить глаза, И вдруг явственно увидел скрипку. Она висела у дедушки на крыше, покрытая толстым бархатным слоем пыли, но когда сквозь щель проникало солнце, луч будто лезвием вспарывал серый чехол, и виден был мерцающий золотом то ли лик, то ли нимб. Скрипка ждала прикосновения трепетной руки мастера. Вот сейчас он возьмёт инструмент, смахнёт рукавом пыль, обдует струны, они вздохнут в ожидании смычка, и...

Давно, больше ста лет назад, это было столыпинское переселение из Центральной России в Сибирь, отец дедушки Александра, Спиридон, прадед уже мой, привёз в наши студёные края свою самую большую ценность. Первый год жили в землянке, и прадед хранил скрипку, завёрнутую в плисовую тряпицу, похожую на чёрный бархат, на нарах. Нароботается за день Спиридон так, что до судороги руки и ноги, тут уж не до любви, детей он всё больше на покосе сотворял, на душистом валке сена или под копной, под берёзу ещё уводил ненаглядную, только там девки получают, — и вот ложится спать, скрипку обнимет и вместе как в омут. Во сне шевельнётся, ненароком заде-нет струну, и звук её согревает, ласкает, к утру чтобы силы собрать, прикопить. День предстоит несладкий.

На будущий год Спиридон поставил добротный дом-пятистенок, благо леса кругом полно, а скрипку — под стреху на крышу. Всё ждал лёгкого праздничного дня, но так и не сыграл ни разу в Сибири. Перед смертью наказал сыну Александру: ты у меня на погосте попиликай, но не торопись сильно, инструмент освой хорошо, он же за тыщи километров пришёл сюда.

Но и у дедушки не получилось: то смерть от голода дочки-последыша, то гибель сына Алёши

на фронте. Нерадостные дни были чаще, чем светлые. Я частенько забирался на крышу, зачарованно смотрел на скрипку; казалось, сокрыта в ней большая тайна, хотелось коснуться, но останавливал дедушкин запрет: не трожь, а то выпорю, придёт время, я тебе её сам... Время так и не пришло. На девятый день после поминок взобрался на крышу, лестница совсем погнула, чуть не сорвался, отворяю дверцу чердака, свет не вошёл, он ударил в темень. Скрипки под стрехой не было, только свежесрезанный сыромятный шнурок, от старости скукоженный, будто тоже от долгого непосильного труда. Зачем он забрал её? Он же обещал...

Жизнь уходит, только воспоминания остаются, тонкая, почти призрачная паутинка. Было это, не было — не проверишь и не докажешь, но скрипка-то где-то звучит, робко, как ребёнок хнычет, а то и плачет навзрыд.

Вот и Бен Ладен вышел, давненько не виделись. Не на привычную лавочку, стоит посреди двора, озирается, хотя точно знает: Розенбаума не будет.

— Покурим, Миша, — протягиваю пачку.

— Щас бы вье...ть, а ты — покурим.

— Что случилось?

— Комиссию вчера прошёл. Со второй группы на третью перевели. Выздоровел я, дворником могу работать. Суки. Намекнули: дай на лапу, оставим как есть. А с чего я дам?..

— А как-то опротестовать?

— Хер тут опротестуешь. Интернациональный долг выполнил, трёшку с копейками добавляю к пенсии — и сиди, не рыпайся. А то, что я до сих пор хожу и глаза в землю пялю, боюсь на мину наступить — это нормально, да? А то, что Ольга со мной не спит, почти каждую ночь из горящего бтра выскакиваю — это как? Бл...ди... Только сейчас понял: думал, за Родину там надрываюсь, — нет, за государство. А государство — зверь, который жрёт нас, некоторых и не глотает. Пережует, вот как меня, и выплюнет... За Родину... Родина — это река наша, где я харюса научился ловить, палисадник, где батя рябинку посадил, где могилы моих родителей и дедов, Ольга моя, дочки мои, внуки. Да и ты вот, Дед, да и Васька. Ну, давай покурим, что ли...

Скрипка не успокоила, Бен Ладен ещё больше разбередил. Опять не усну долго, вечером намахнуть надо. Чтобы Зойка не ворчала, водку я прячу. То в графинчик перелью, или в заварной чайник набулькаю. «Дед, ты нам живой нужен. Побереги сердце», — бурчит дочь. Побережешь его с вами. Надо вот про Бурмату узнать, где он и чего. Алименты его нам не нужны, а вот гены хочу пощупать.

Вспомнил про Витьку Новикова, корреспондента отдела культуры в нашей газете. Всю жизнь я отрубил в ней, вначале корректором, потом выпускающим, когда ответсек уходил в запой,

и его приходилось замещать, а сказали бы—побудь редактором, и с этим бы справился.

Витька дружил со многими чудиками из богемы и про такую личность, как Бурмата, должен что-то знать. Я не ошибся.

Витька встретил, как всегда, в прокуренной комнате и всегда уже поддатый.

— Старик, ты живой? Какими ветрами? Вмажем по грамулке?

— Не, Витёк, я только перед сном. Моторчик не позволяет.

— Ну, где ты, как, чего?—суетится Витька: выпить охота, а не с кем.

— Тоска, дружище. Книги, телек, уток хожу кормить на берег. На покой, наверно, пора.

— Держись, старик. Жизнь новая началась, интересно.

— Тебе интересно, а мне грустно... Вить, ты лучше расскажи про Бурмату. Где он сейчас, может, знаешь?

— Толик в Канске. Рабочий сцены в театре, подженился, всё грозитя книгу написать. Говорит, трактат философский. О смысле жизни. Как начнёт рассказывать—аж захлёбывается. Там перемешаны буддизм, христианство, похоже, вообще все религии, о которых он слышал и читал. Крутой замес на экзистенциализме. В общем, дурдом. Но поклонников у него много. А тебе-то он зачем?

— Долгая история. Потом расскажу.

Домой идти рано, но и податься некуда. Вышел из редакции неприкаянный, стою на крыльце, как столб, у которого все провода оборвали, концы их скрюченные болтаются бестолково, хоть к Витьке возвращайся да хлопни пару стаканов портвешка. Вспомнил про своё заветное место, валун на берегу Качи, и потопал туда, правда, без хлеба для уточек. Ну, ничего, они разумнее нас, поймут моё состояние.

Гранитная булыга была тёплая, ждала как утрату, соскучилась. Речушка тихо плескала, доверительно так, или сама с собой разговаривала, или меня пригласала. А у меня как с утра накатило, так до сих пор и не отпускает. Пацаном всё мечтал: когда же я вырасту?... А я уже никогда не вырасту. По паспорту семьдесят один, а в душе те же пятнадцать. Всё самое главное помню. Так же наивно мечтаю и витаю где-то сильно вверху или за струной горизонта. Первую любовь, когда не чувствовал притяжения Земли. Когда, не имея ни голоса, ни слуха, пел, надрывая горло, в ночной тиши сеновала о её трепетной и недоступной красоте... Первое разочарование, как неожиданный удар под дых, как плакал и думал: жизнь кончилась, уже никому и никогда не нужен,—уходил в огород и ложился в борозду меж картофельных грядок, будто в могилу. Помню... И освежающий запах родника в расступившейся зелени мха, и усыпляющий дымок костра, когда земля и небо сливаются воедино.

Помню... Как струсил, и казалось—воняет от меня, все отворачиваются, но не отмыться. Как победил и размахивал воображаемой саблей справа налево. Сверкала сталь, и верилось: так будет всегда. Но, увы, запинался, а то и падал в смердящую тину чаще, чем с гикающим восторгом скакал к вершине. Помню всё... Смех и слёзы, кровь и пот. Только не знаю, зачем я был пущен в этот мир. Порой участливый, терпеливый, заботливый, а порою холодный, равнодушный и расчётливый. Может, затем, чтобы улучшить его, сделать более красивым и добрым? Но ведь я на земле не один такой, а перемен что-то не видно. Убивают, воруют, лгут, и всё более изощрённо. Может, всё зря? Все мы—пустое место. Блеф, мираж, морок.

Когда же я вырасту? Да уже никогда. Мне далеко не семьдесят один. Мне все сто семьдесят один или тысяча семьдесят один. Я не вырасту, а расту на землю, повторив пути отца, деда, прадеда. Единственное благо—удобрю почву, на которой взойдут всегда чудные травы и цветы. Может, и деревья потом будут тенью своей листвы успокаивать подобных мне. Может... Неужели только для этого позвал Всевышний? Вот сижу, морщу лоб, тру подбородок, курю одну за другой. Видимо, только к закату задумываемся о сущности или бессмысленности себя и всего.

Когда я вырасту... Наверное, только в тот миг, когда мятущаяся и усталая от поисков душа покинет дряхлое, бесполезное тело, или взмоет в хрустальные кущи, или низринется в смердящую бездну, и вот только тогда встану в полный рост и откроется заветное.

Я уже никогда не вырасту. Так хочется в детство, хочется до озноба, до сухости во рту, как в бесплодной пустыне, когда один глоток может всё вернуть и продлить.

Когда я вырасту—всё забуду. Любовь и смех, слёзы и неудачи, кого ждал и кого ненавидел. Я буду там, за недоступной для вас чертой. Буду видеть всё и понимать, но от невозможности подсказать или остановить мучиться больше, чем в сегодняшних пределах...

Так где же отдохновение? Зачем и для чего всё-таки запущены Им я и подобные мне в этот вечный двигатель? Шестерёнки галактик скрипят, вспыхивают петарды звёзд, невыносимый гул пронзает уши, от него пахнет то палёной шерстью, то пьянящими розами—и дух мой в этом хаосе как в детдоме. Сиротский взгляд, штанишки дырявые, грязь под ногтями и пустота в животе.

Устал, помню всё и не вырасту никогда. Отчаяньем, как одеялом, накроюсь. Жизнь утратила смысл.

Домой не пришёл, а доковылял. Внук за компьютером, Зойка где-то куролесит. Одинок, хоть стреляйся. Вспомнил вдруг: недавно ездил в Притычку навестить могилки дедушки-бабушки. Увхода на

погост на лавочке сидела старушонка, несмотря на солнечный полдень—в платочке, на плечах—тёплая кофта, не вырабатывает уже нужного тепла изношенное тело. Хотел передохнуть, покурить, а она обрадовалась случайному соседу и всю жизнь исповедала. «А золоту медаль мне не дали. Всю ж войну проработала. Начальнику какому-то дали мою медаль. Она ж золотая. Вот и не дали... После войны тоже работала. Видишь, как согнуло меня».

Чего же я жду от этой жизни? Чужие ошибки в чужих текстах исправлял. Чужие, а зачастую и лживые новости торопливо относил из редакции в типографию. Какой ты медали ждёшь, придурок?

Вечер

Кто я? Откуда? Зачем и где?

Ветер из фиолетовой мглы. Скрыться бы.

Утонуть. Всё неправда. Ложь и туман. Из фиолетового—в серый, душный и пропитанный липкой влагой, не провалиться бы. Мгла поглощает жизнь.

Выпрямись и встань. Если бы. Был цветок на солнечном подоконнике и завял. Даже запаха не успел родить. Был и завял. Нет, он умер. А может, его и не было. Всё это лишь сон и морок... А боль, которая не отпускает, её-то куда денешь? Как собачонка бездомная привязалась. Сгинь, отпусти!

(Из «Дневника постороннего»)

Канск—это вам не захолустная, почти вымершая Притычка, где я провёл самые счастливые годы, и не Ирба, где окончил школу и познал дурманящую влагу первого поцелуя, и даже не Красноярск, дурацкий и ноябрьский, где отрубил от звонка до звонка в молодёжной газете. Канск—городок серьёзный, он обладает не только театром и музеем, здесь есть любимые народом табачная фабрика и спиртзавод, громадное текстильное производство, а у станков—сбежавшие из деревень полногрудые девчонки, и все хотят замуж, и все смотрят на мужиков с надеждой. Неохота возвращаться в мир, где главное—поросята, корова да курицы. Таким, как Бурмата, здесь не рай, это их Мекка и Царьград, но самое главное—Канск, не знаю уж почему, считается уголовной столицей Сибири.

Вот и поехал я в этот районный зачуханный городишко, чтобы встретиться с Бурматой.

Если что-то случалось серьёзное, громкое, пусть и в сотнях километров от Канска, всегда уверенно говорили: это пацаны оттуда, никаких сомнений. Помню, когда взяли Колю Канского, настоящего авторитета, только по слову которого казнили или миловали, иногда в течение нескольких минут решали многомиллионные тяжбы, уголовный мир задохнулся от возмущения, ужаса и удивления. Как это—Колю? Да кто посмел? Как мы теперь без него? Но самое красивое началось потом. Был назначен день суда над Колей, и с утра сотни анонимных

звонков сообщили о минировании прокуратуры, суда, магазинов и ещё чёрт знает чего. Короче, службы МЧС и МВД не просто разрывались на выезды, они крыли Колю самыми грязными словами. Все понимали: сообщения ложные,—но по уставу здания обнюхать, осмотреть, просветить и прочее тщательнейшим образом надо. Вдруг среди этого вранья да окажется хоть одна закладка? По одному щелчку из Москвы полетят, сверкая кокардами, шапки у местных полковников и генералов, зачирикают вслед им погоны. Вот же, Коля, каков ты, авторитет всё-таки, не фуфло провинциальное. А не взяли бы тебя за цугундер—как хорошо бы было: пила бы кофе по утрам вся мелочь служивая, вели бы разговоры серьёзные о политике, да пусть и о бабах, но всё было бы как-то привычно, спокойно и без напряга.

Суд перенесли на две недели, народу сообщили: преступник будет наказан. Но в назначенный день хохма со звонками повторилась, и так три раза. Люди в городке уже смеялись, а чиновников от каждого звонка из столицы бросало в нехороший пот. Они лихорадочно думали, что бы ещё соврать, почему какой-то сраный Коля держит на ушах целый город.

Вот в такое место и занесло Бурмату. Всё случилось по пьянке, но он не жалеет об этом. Из Канска в Красноярск приехал искать успеха начинающий поэт-художник Юлий Бурмистров. Почему поэт, да ещё и художник? Он все опусы на холстах подписывал типа стихами. Например, изобразил бурлящую меж скал реку, а на крутом берегу, вся в голубом и готовая к полёту, дева—навверняка ткачиха-ударница—позировала. Под шедевром размашисто кистью выведено:

*Горный поток—это женщина в страсти,
Мечется в скалах, камни ворочает.*

*Встретил тебя и я больше не властен,
Инстинктом влеком, но разум не хочет.*

Подобные произведения и привёз Юлий. Были у него и абстрактные работы, сегодня без них никак, с подобными же бесполовыми стихами. Куда, как не в молодёжку, идти?

Витька Новиков посмотрел, почитал, поморщился, но в надежде выпить на халяву приободрил Бурмистрова:

—Интересно всё. Забавно,—Юлию не понравилось это слово—чего тут забавного?—но он робко промолчал.—Сейчас позвоню ребятам, обсудим, посоветуем, подскажем. Оставляй всё здесь и через часок подтягивайся.

Они расстались. Молодой автор, конечно, купил бутылку коньяка, лимон, плитку шоколада. И совсем скоро за журнальным столиком в отделе культуры сидели Виктор, Юлий, Бурмата и начинающая поэтесса Лира Ионесси—конечно, это псевдоним её, Лира была просто Катей Сазоновой.

Новиков с Бурматой уже накатили по стопке и о чём-то тихо переговаривались, курили, Катенька-Лира, приобняв Юлию, восторженно смотрела на его картину и почти пела свои стихи. Бурмистрову было неудобно, лишним здесь он себя чувствовал, и, как-то уклонившись от вдохновенной поэтессы, подошёл к парням:

— Может, ещё по одной?

Бутылка скоро, как апрельская сосулька, скользнула под журнальный столик, Юлий уже вместе с Бурматой сходили за второй, потом и за третьей. Кончилось всё тем, что они загрузили картины в багажник такси и помчали в серьёзный город Канск. Юлий, чтобы расположить Бурмату, провёл его по всем достопримечательным местам городка; первым делом, конечно, галерею посетили. Бурмистров не стал показывать, где его шедевры, было интересно, обратит ли на них внимание сам гость, но Толя — человек опытный, он как бы случайно показывал на какое-либо полотно:

— Старик, а вот любопытная вещь. И по стилю, и по мысли. Это кто у вас так?

— Моя работа, — застенчиво, не веря до конца в похвалу, говорил Юлий. — Тебе правда понравилось?

— Без дураков. Это стоит не только выставки, но и каталога.

Что ещё умного он мог добавить?

— Говорил директору: давай издадим. Так он, дебил, денег пожалел.

— У вас что, спонсоров нет?

— Какие спонсоры? Ты ещё скажи — меценаты. Дыра это. Вот бандиты у нас есть, проститутки. На весь город от силы человек пять, с кем поговорить можно.

— Нелегко тебе, понимаю...

Заканчивали ознакомительную экскурсию в драмтеатре, в здании, построенном после войны пленными японцами. За эти годы домище в помпезном сталинском стиле пообветшало, могучие колонны фасада были исписаны признаниями любви к Зинкам и Машкам, а вот Валька — так это вообще сучка подзаборная, неведомый Гриша — пидор конченный. Короче, колонны были своеобразным переговорным пунктом молодёжи. Спасибо большое от юной поросли товарищу Сталину и, конечно, японцам за безмятежно счастливое детство.

И вот здесь судьба кардинальным образом вмешалась в устоявшийся штиль жизни нашего романтика-флибустьера. Юлий уговорил Бурмату сходить на спектакль «Сирано», где главную роль играла его тайная любовь Люба Воробьёва. Девушка родилась и выросла в Канске, матушка с папашей-алкашом, но ударником коммунистического труда на спиртзаводе, прочили ей будущее на ткацком комбинате. Она же всё свободное

время проводила или в драмкружке, или в комсомольской агитбригаде. Люба была не то чтобы активисткой, просто ей невыносимо было дома, близкими подружками не обзавелась и убегала в эти суматошные коллективы. Играть, или, как она считала, придуриваться, на любительской сцене ей нравилось, её хвалили. Когда пришла пора выбирать будущее, Любе стало так грустно — хоть в реку вниз головой.

Папаша решил: пойдёт ученицей на ткацкий, а это значит, на всю оставшуюся жизнь — в Канске. Но городок этот был Любе невыносим, как и дом, даже ещё больше — он был ей противен. Много позже она полюбит его и будет жалеть, как калеку, ставшего убогим не по своей воле.

Ночами от безысходности Люба плакала, и выход ей виделся только в одном — уехать, сбежать. Но куда?.. И опять же судьба: встретила на улице руководителя драмкружка.

— И куда наша прима нацелилась? — нравилась она ему, в жизни застенчивая, робкая, но на сцене — будто огонь волшебный влили в неё — светилась и трепетала.

— Не знаю. Отец на ткацкий гонит.

— Господь с тобой! Какая фабрика? Ты же талант! Поезжай в Красноярск, в институте искусств актёрское отделение есть. Характеристику тебе напишу.

— Правда?

— Правда, правда, — он приобнял Любу, уже вступившую в надежду. — Завтра приходи.

Такого страха, как в Красноярске, Люба ещё не переживала. Во-первых, конкурс был аж одиннадцать человек на место, во вторых, все, кто хотел учиться, уже были похожи на артистов: не только красиво и модно одеты, но и вели себя как настоящие артисты.

Наверное, прав был отец: буду ткачихой; по осени отнесёт он, как и обещал, мастеру литру, и примут ученицей, стану ударницей, на Доске почёта меня все увидят; вот и перспектива, как наговаривал он, потом орден дадут, потом депутатом выберут, Канск гордиться мной будет, — думает Люба, но не легче ей от этого.

Экзамены трусиха Воробьёва сдала хорошо, но впереди главное — собеседование, пытаться будут. И здесь Любе повезло, вёл её по жизни кто-то, об этом она пока не задумывалась, только радовалась.

— Воробьёва, кто вам эту басню подсказал выучить? — спросил маленький, как пуговка, седой мужичок; это потом уже народный артист Старилов будет Любиным мастером-наставником.

— Никто, я сама.

— Вот так-то, господи-товарищи. Скоро наша провинция всех за пояс заткнёт. Воробьёва, как вас по имени? Любовь, — произнёс он нежно и как бы в назидание всем. — Имя какое красивое! Беру вас в свою группу. Согласны?

Люба чуть не в обморок. Откуда-то вдруг пришло бабушкино:

— Я помолюсь за вас.

— Вот так-то, господа-товарищи. А вы всё— пьяница, алкаш. Я народный, народ меня любит, даже девушка за меня помолится. Записывайте Воробьёву.

Так вот, как с неба всё упало, Люба и стала студенткой. Пять лет прошли незаметно, будто короткая встреча с любимым: только обнялись— уже расставаться пора. И хотя в Красноярске четыре театра, всех туда не устроишь— друзья, знакомые, по благу; в общем, пришлось Любе в нелюбимый Канск возвращаться. Дома её встретили как-то странно. Отец робел перед дочерью. Мать если раньше хоть изредка, но ласкала, была приветлива, то теперь родное чадо стало будто падчерицей или приёмным. Зато в театре сложилось как никогда удачно, землячка всё-таки, не пришлая выскочка, была равная среди равных.

Блиzkих подруг, как и в детстве, у Любы так и не появилось. Она, как пишут бездарные журналисты, всю себя отдавала сцене. Жизнь шла, годы щёлкали, пока в Канске не появились Александр Иосифович Коньков и Бурмата. Коньков был приезжим режиссёром, аж из самого Ленинграда, он-то и поставил «Сирано» Ростана. Пьеса всем актёрам и театральным хорошо знакома, но новый режиссёр так её прочитал, что местные зрители впервые на премьере утирали настоящие слёзы, а смех их был искренним, и в конце они— такого никогда ещё не было—непроизвольно встали и хлопали, хлопали.

Бурмата был уже на втором спектакле, и занавес ещё не раскрылся, но он, не сдерживая иронии, склонился к Юлию:

— Давненько не был в кукольном.

— У нас драматический, — не понял его Бурмистров.

После первого акта провинциальный зритель не ринулся в буфет или покурить, почти все как пришибленные остались в зале. Бурмата отправил Юлию купить программку, а когда юный друг вернулся и развёл руками, он попросил рассказать, что это за бабёнка в главной роли. На такие слова Бурмистров обиделся, он был не просто влюблён в Любу, он её обожал, для него она была бриллиантом в зачуханной короне Канска, и поэтому просто буркнул:

— Наша, канская.

— А имя-то хоть знаешь?

— Любовь Воробьёва.

Вот и всё, что узнал в тот вечер о молодой актрисе Бурмата; правда, на выходе он ненадолго остановился у доски приказов, где прикноплены листки о распределении ролей, премиях и выговорах, и успел отметить, что театру требуется рабочий сцены.

Почему— Бурмата и сам на это не сможет ответить, на следующий день он пришёл к директору театра и написал заявление о приёме на работу. Неужели буровой мастер не справится с задачами рабочего сцены? Тем более что цель у Толика Сиротинина, это он знал уже точно, была совсем другая. Ему не просто надо было, а во что бы то ни стало покорить волшебную Роксану. Он не помнит, когда такое переживал, чувствовал, но Толик вдруг увидел, как в туманном мареве, свою первую любовь. Девочка тоже была детдомовкой, худенькая травинка, скорее даже тощенькая, но пацану показалось, что она может взять его за руку и увести из проклятого детдома. Надо было поближе сойтись с девочкой, и Толик, когда им выдавали после обеда пряник, не съедал его, прятал в карман и долго караулил девочку во дворе.

Пряники помогли, уже через какую-то пару недель девочка позвала его в кладовую, где хранились матрасы и другое постельное, и они стали близки. Про это Толик от пацанов знал много и сразу понял: девочка— уже не девочка, или, как говорили друганы, не целка. Мало того, что Толик не получил никакого удовольствия, а ждал, опять же по словам пацанов, волшебства и тайны перевоплощения в мужика, так он был ещё смертельно обижен тем, что не первый. И тогда малолеток подумал: любовь— это сказка, выдумки взрослых, а то позорное и противное, что они называют красивым словом «любовь»,— просто е...ля.

И вот теперь Люба-Роксана, как та же девочка, казалось, хочет взять его за руку, уже даже птицей протягивает крыло-ладонь, и они, осталось только сблизиться, вместе— туда, где он никогда не был, но подспудно догадывался: только там он познает чудо любви и найдёт себя.

Вот ведь как бывает... И Бурмата разработал план. Вместо шершавых пряников в дело были пущены шоколадки и вино, букеты после спектаклей; малый успех получил, его изредка впускали в гримёрку, он тихо и нараспев читал Есенина и Гумилёва. Не действовало. Оставалось последнее, проверенное и беспротестное, — уединиться, побренчать на гитаре, перемежая песни о туманах и перекатах диковинными байками про тайгу, буровую, страшных медведей и весёлых геологов, но на Любу и это не действовало. Она хоть и слушала, но как-то обречённо-тоскливо: мол, давай-давай, всё это мы проходили в студенчестве.

Бурмата наконец-то понял: походы в кафе и даже ресторан не помогут, требуется что-то решительно неординарное. Уже отшелестела осень, городок укутала-убаюкала зима; ночью он тихо подсапывал, изредка вздрагивая от станционных гудков поездов, равнодушно уносящихся на восток или запад, днём же только лениво приоткрывал глаза и дремал до вечера, чтобы опять забыться в одиночестве и тоске. «Надо бежать, драпать отсюда,

и как можно скорее»,—Толик у окна общаги пу- чился в ночную мглу, ни сигареты, ни бутылка вина не спасали от безысходности. Вдруг, как по наитию, он встал и пошёл к цветочному киоску. Небо было чистым, всё в звёздах, безнадёжно далё- ких, загадочных и недоступных, ковш Большой Медведицы ещё не склонился к горизонту—значит, не поздно, могу успеть, но Толик не стал ускорять шаг, он был уверен и шёл степенно. Продавец, укатанная в шаль, курила на крыльце, готовясь закрывать торговую точку, в магазине было уже темно, и Толик окликнул женщину:

— Уважаемая, подождите!

Ему распахнули дверь, щёлкнули выключателем. Ассортимент был небогат, и Бурмата попросил:

— Может, вы сами выберете?

Женщина сняла шаль и оказалась не то чтобы старушкой, но очень уж пожилой и как-то устало подорванной, как бы поизношенной безнадегой жизни. Толик даже хотел извиниться и уйти, но она остановила его:

— Вы к любимой или на день рождения?

Как тут ответить? Бурмата опешил.

— Пусть будет к любимой.

— А какие цветы она любит, знаете?

— Думаю, любые, кроме чёрных,—соригиналь- ничал он.

На женщину это не подействовало. Букет скоро был готов и, несмотря на скудость выбора, очень даже красиво выглядел.

Но как— вот задача — как теперь без приглаше- ния войти? Да и дома ли она?

Бурмата запахнул лолой пальто букет, глянул в окна знакомой квартиры на пятом этаже, они светились. Решение, точнее, озарение, пришло мгновенно. Он подошёл к урне, из которой торчал полиэтиленовый пакет, вытряс мусор, снял туфли и носки, впихнул всё в пакет и за углом дома загрёб его снегом. Потом минут десять потоптался по ледяному асфальту, ступни стали сине-красными, но холод и дрожь его сейчас не трогали, ему было легко и весело, он даже напевал:

— Лыжи у печки стоят, гаснет закат за горой...

На звонок дверь открылась не сразу, вначале Люба спросила:

— Это кто?

— Я принёс сюрприз, как вы и просили.

— Я ничего не просила.

— Люба, это Сиротинин.

— Господи!—она увидела его босым.— Ну, про- ходи. Ты, как всегда, в простоте ничего не можешь.

Букет вальяжно расположился посреди стола в вазе, они пили кофе, молча посматривали друг на друга, как бы узнавая по новой. Люба думала: «Ну вот что с ним делать?» А Бурмата: «А что дальше? Надо же что-то ещё». Потом немного рассказывали каждый о себе, просто, без прикрас, а когда при- шла пора расставаться, хозяйка робко произнесла:

— Босиком тебя не отпущу. Постелю на кухне, и ложись.

— А можно?

— Сегодня можно,—она засмеялась, и они оба ещё не знали, что это «можно» станет надолго.

Деду ну никак не хотелось ехать в Канск: три часа в электричке, а потом— найдёт ли он этого Бурмату? Да и зачем он ему? «Просто посмотрю на него— и назад»,—уговаривал он себя и неспешно собирал портфель: что-нибудь нехитрое перекусить, мине- ралку, сигареты и томик Вулфа «Домой возврата нет»—с недавних пор любимую книгу. Много находил он в ней про себя, про жизнь вообще, удивлялся, как вообще это смог постичь америка- нец, от такого текста с ума можно сойти. Третий раз перечитывать будет, и всё медленнее, смакуя каждую страницу. Ждал Дед и второй том Вулфа «Оглянись на дом свой, ангел», но Дед робел перед ним, как перед прыжком в неведомую, пугающую тьмой и манящую глубь.

Через какой-то час электричка почти опустела. Дед покурил в тамбуре и уже с книгой на коленях задремал.

Он видел себя молоденьким, почти пацаном, он проспал и бежал на работу. Опаздывать нельзя, к обеду все полосы газетные надо на два раза вычи- тать. Осталось только свернуть за угол—и редак- ция. Вдруг, как ниоткуда, возник дедуля. Семён, он ещё не был Дедом, а просто Семёном, даже Сеней и Сенечкой окликали его, почти уткнулся в старичка.

— Молодой человек,—дедуля был доверчив, трога- телен, чем-то похож на одуванчик, сединой, навер- ное; казалось, лёгкое дуновение—и он исчезнет в утренней тишине.—Я из больницы выписался только что. Ни сын, ни внуки—никто не приехал. Может, забыли, а мне до дома и добраться не на что. Рубля бы три всего на автобус. Адрес дадите, я возвращу.

В запарке Семён сунул руку в карман, в ладони была трёшка, это последняя, а до зарплаты ещё два дня, но он протянул её дедку:

— Пожалуйста.

Одуванчик взял её двумя пальцами, вроде как чтобы не смять так необходимую денежку.

— Благодарю вас,—он поклонился, Семёну даже неудобно стало.

А через мгновение что-то остановило опазды- вающего парня, он оглянулся—дедка нигде не было, исчез так же странно, как и появился.

Электричка вздрогнула, засвистела перед очеред- ной станцией. «Маганская»,—как из железной бочки объявили. Дед открыл глаза. Он только что видел ту давнюю встречу. Старичок тот был ка- кой-то нереальный, чистенький, аккуратненький,

бородка ровная, будто её никогда не касались ножницы, таких изображают только на картинках в детских книжках. И заплаточки-то у него на свежевыглаженной рубашке были так красиво пришиты, что походили на луговые соцветия.

«Чудеса, да и только», — уже сейчас подумал Дед. Но на этом встреча их не закончилась. Пере-скакивая через ступеньку, Семён увидел прямо перед собой пятёрку, купюру новенькую, как из станка. Луч солнца падал на неё, она подрагивала на ветерке, будто хотела привстать и ожить. Семён, не поверив, взял её в руки — настоящая. Маши-нально сунул в карман и вспомнил слова отца: «Нашёл — молчи, и потерял — молчи...» Оглянулся, почувствовав чей-то пристальный взгляд, — ни-кого, только странное сиреневое облачко, закру-чиваясь спиралью, ушло за угол.

Так что же это за дедок-старичок был? И только сейчас, в электричке, он даже испугался своей мысли: так не святитель ли это Николай? Иконы с его изображением он видел в церкви. Одуван-чик был вылитый Чудотворец. Зачем он приходил, зачем являлся мне? Не затем ли чтобы проверить, дам ли я ему денежку? И маленькое чудо показал, пятёрку подбростил.

Ну, Дед, скоро ты умом тронешься. Воспони-мания — с чего это они стали его чуть не каж-дый день, чаще всего ночь и вечер, доставать? Попытка вернуться назад, где всё было светло и чисто — постигай, дерзай без оглядки, или хочется переосмыслить, понять, зачем ты жил, чего достиг, тварь человеческая? Для чего-то же создал тебя Господь, вложил что-то в твоё бренное тело. Но исполнил ли ты Его волю и своё предназначение? Или жил как таракашка-букашка, как рептилия, только жрал, спал и срал?..

Тоскливой и грустной была дорога в Канск. Этот Бурмата Деду был уже совсем не нужен. Гвоздик бы ему в голову, вспомнил он слова бабушки Олёны.

Это пришло уже из детства, как всполох дальней зарницы. Грома нет, но великое пространство играет беззвучно цветами, будто невидимый орган, и тихий испуг накатывает, обволакивает. Свар-ливые собаки неслышно волокут цепную привязь, забиваются в конуру, как в окоп перед нещадной бомбёжкой; петухи, только что оттоптавшие кур, вдруг хоронятся в соломе за насестом, будто и не было у них никогда лихой удали. Что-то будет скоро.

Дошколёнок Семён несколько дней наблюдал за гнездом ласточки под крышей дровяника. Когда она его слепила, он не заметил, а, только недавно услышав писк птичьих деток, теперь с самого утра садился на чурку и наблюдал за ласточками: мама и папа носят своему выводку то кузнечика, то червячка. Мальчишка был просто зачарован этим действием. Особенно ему нравились паузы. Птенцы

насытились, тудяги-родители упорхнули, а детки вдруг снова на разные голоса начинают требо-вательно кричать: ещё хотим, ещё вкусенького.

Как-то бабушка истомила в русской печи для внука чугунок какао на сливках, налила чашку, и мальчишка, ещё ни разу не пробовавший такого чуда, только ушла бабуля, взял ухват и с трудом, но смог этот чугунок вынуть из пасти горячей печи. Когда бабушка вернулась покормить внука обедом, чугунок стоял на столе пустым. С тех пор Деду даже от запаха какао становилось дурно. А птенцы всё пищали и пищали. И мальчишка, то ли жалко стало ему тудяг-родителей, то ли ещё почему, он этого так и не понял, взял длинную жердь, ударил по гнезду, оно расколосось, и на берёзовую щепу упали три беспомощно шеве-лящихся желтоклювых комочка. Сеня протянул руку, хотел их потрогать, но прилетели родители, громко запричитали, заметались между крышей дровяника и землёй, отец детей всё норовил клю-нуть пацана, и мальчишка громко заплакал. Он не испугался, ему стало жаль утраченной забавы. И вообще, за что они его? Ведь он хотел помочь усталым птицам.

Прибежала бабушка:

— Внучок, ты что? Обидел кто?

Он показал порушенное гнездо, на слюнявых, залипших в опилки и дресву птенцов. Взрослые ласточки с появлением бабушки молча сидели поодаль, доверили ей принимать решение.

— Это кто же натворил?

— Баба, это я.

— Зачем? Кто тебя надоумил?

— Не знаю. Они пищали.

Бабушка прижала внука к груди, от неё пахло коровьим молоком и дынями.

— Это грех, Семён, — по-взрослому она ещё не называла его. — Я же тебе говорила про Бога. Он всё видит, Боженька наказывает за грех.

— Как наказывает? Ремнём бьёт?

— Вон облачко на небе видишь? Боженька за ним прячется, посматривает за людьми. А вон ещё одно облачко, там у него кузница, и ангелы куют ему гвоздики. Если согрешил кто сильно, Боженька берёт гвоздик и опускает, а тот прямо в голову грешнику.

— И всё, баба?

— И всё.

— А гвоздик потом из жопки выходит?

— Этого уж я не знаю.

Мальчишка бывал у дедушки в кузне, ему нра-вилось смотреть на трепещущее синевой пламя в горне, он удивлялся, как быстро простая желез-ная палка вдруг становилась красной и, наверное, вкусной, вот лизнуть бы, а потом на наковальне она оживала, летели во все стороны звёздочками искры, и палка превращалась либо в подкову, либо в дверную щеколду, либо ещё во что-то полезное.

Эта кузница была доброй. А почему же у Бога куют гвозди людей протыкать?

— Баба, меня Боженька тоже накажет?

— Это твой первый грех, ты не ведал ещё, простит он. Пойдём помолимся.

Бабушка уводит внука в дом, встаёт на колени и чуть слышно, только для себя, говорит что-то. Сёма уже не боится гвоздика, он вспомнил: дедушка обещал вечером сводить на рыбалку.

Бурмату оказалось найти несложно. Многоопытный Дед знал, куда пойти — конечно, в редакцию, в районке не только местные сплетни ведают, но и про таких необычных новичков в городе могут кое-что рассказать.

В фойе театра Сиротинина он прождал больше часа. Первой появилась Люба.

— Вы Анатолия ждёте?

— Да, жду.

Дед удивился: почему эта сразу понравившаяся ему женщина вдруг опередила Бурмату? Явно не родственница, очередная жертва. И её охмурил туманами.

Но вот и он. Быстрым шагом — оторвали от важного и срочного — почти упёрся в Деда, в глазах недоумение, лёгкая растерянность.

— Слушаю вас.

Деду уже не хочется ничего говорить. Он увидел его, понял — и достаточно.

— У тебя сын растёт. Большой уже. Ты знаешь об этом?

— Допустим.

— Повидал бы хоть. Он хочет этого.

Бурмата отвёл взгляд в сторону, резко тряхнул головой, как бы избавляясь от ненужной; и докучливой памяти.

— Я не только отца, но и мать ни разу не видел. Он с тобой, что ли, а я вот в детдоме хлебал одиночество.

— Сын не виноват в этом.

— Виновных всегда нет. Никто ни в чём не виноват, — и Бурмата так же резко, как и появился, ушёл.

Опешивший от этой фразы Дед несколько минут стоял как пришибленный. Догнать Бурмату, горько упрекнуть, ударить побольнее? Нет, всё не то. Он живёт одним днём. А может, и надо так? Жизнь так коротка. Утро, день, вечер, ночь — и всё. Потом вечность. Но почему же она так пугает меня? Как мрак в детстве, когда ты дома один и, кажется, в каждом углу притаилась опасность. Пойти и проверить не хватает смелости, духу не хватает, и лежишь без сна, чего только в голову не приходит. Любой шорох, любой звук, если они не поддаются объяснению, многократно увеличивают страхи. И страхи эти не имеют ни человеческого, ни звериного облича. Просто тёмный клубок страха.

Вечность — вот этот страх, догадывается Дед, её не выразить словами, может, она лишь для того, чтобы ты, наконец, понял, для чего в уютное тело

женщины было впущено, посажено твоё крохотное семечко, зёрнышко, из которого ты, выскользнув робким ростком, окреп и набрался сил; ну а теперь давай — совершенствуйся, твори, создай. И вот что-то ты сделал, чего-то не сделал, что-то понял, чего-то не понял — и в итоге в недоумении приходишь опять сюда, в Вечность. И какой смысл в этом? Скорее — бессмыслица, жестокая, как приговор на вечный срок без права условно-досрочного или амнистии. Может, поэтому самоубийц и не хоронят на кладбище, и не отпевают. Некого отпевать, они совершили рывок, побег через колючку правил и устоев.

Что же получается? Бог — хозяин нашего концлагеря. Мы здесь всего лишь на перевоспитании. . .

Дед, как бы стряхивая этот морок, невольно перекрестился. И нет здесь правых и неправых, У каждого своя правда, своя цель, своя истина. И у Зойки, и у Бурматы. А чего я тогда мучаюсь, чего мне не хватает? Живи проще. Но опять же — это возврат к рептилии.

Уже на вокзале, когда Дед ожидал электричку, его вдруг охватило такое отчаяние и пустота, что жизнь утратила всякий смысл. Скоро наступит завтра — как путь в никуда. Над прошлым — багровый бесформенный рубец, над будущим уже занесён бесповоротно заточенный клинок.

Дед смотрит в небо: может быть, там ответ? — и не может понять, почему, когда нам тяжело, помощи всегда ждём оттуда. Но звёзды мерцают, не раскрывая тайны. Полная луна равнодушная, холодная. И только облака — дети ветра, их беззвучная песня прекрасна в ночной тиши. Облака откровенны, кажется, вот сейчас. . .

Ночь

Остановись, остановись, ветер, остановись, время, остановитесь, звёзды. Мрак и тишина, укрой-те — может, согреюсь. Может, уйду, откуда пришёл. Тщетный, обдирающий в кровь поиск не пришёл к цели. А была ли она? Лабиринт без выхода. Эта мучительная тренировка — всего лишь подготовка к прыжку в иной мир; возможно, там будут властвовать любовь и гармония. Хочется верить. Верить всегда больно. Вдруг полёт в искрящееся небытие — всего лишь бред воспалённого разума?

Кто я? Кроме себя, нелепого и никому не нужного, — кого увидел? Смешон? Да. Слаб и бестолков от невозможности что-то исправить? Да. Просто облачко пара, выдохнутое в холодное пространство.

Где я? Отчётливо вижу лишь хаос и бессмысленность, они окружают, кольцо сжмается, безропотно ожидаю часа X.

Откуда? Догадываюсь, но вслух это не произносимо.

Но вот зачем? Зачем?..

(Из «Дневника постороннего»)

Это, может, привычка, но в «час Быка» он всегда открывает глаза. Скорее потому, что когда-то, уже и не помнит от кого и где, услышал: люди чаще всего в это время расстаются с жизнью. А ему, видимо, на уровне подсознания не хотелось покидать земной мир со всеми его прелестями и горестями.

Вот и сейчас вязкая, непроглядная, как гудрон, тишина. Ни птичьего звона, ни самолётного рокота, ни паровозного гудка — всё замерло. Наверное, думает Дед, что-то ещё я должен сделать, подсказать, совершить, ответить. И вдруг как пронзило: надо к отцу, на родину...

В Ирбу выехали рано, чтобы к ночи вернуться домой. Серёга, сосед Деда, шустрый бесшабашный парень, только что купил вишнёвую «девятку», счастье и гордость переполняли его, и он соглашался на любые поездки, лишь бы порулить, покрасоваться. Окна машины всегда были открыты на полную, из них гремела задорная и бестолковая песня «Моя вишнёвая девятка...».

— А зачем мы едем? — вдруг спросил Серёга.
— Сам не знаю. Захотелось увидеть отца, поговорить хоть полчаса, выпить по стаканчику.
— Я бы тоже с отцом увиделся, — Серёга резко вдавил педаль газа. — Вот, послушай, недавно написал:

Из недавнего детства
Явилась весенняя слякоть:
На охоту отец
Обещал меня взять и не взял.
Я бежал по следам,
Бормоча себе: «Только не плакать!»
Задыхаясь от слёз,
По отцовским следам я бежал.
Никогда не прошу
Себе то, что устал от погони,
А отцу — что так ловко
И хитро запутал свой след.
Снится: мальчик бежит,
Но отца он уже не догонит,
Потому что отец...
Потому что отца уже нет!²

«Девятка» рассекала утренний туман, мелькали беспечно зелёные березняки, задумчиво-наступленные стога сена, болотные проплешины на лугах, будто кто-то неряшливо здесь прибирался. Серёга вдохновенно декламировал стихи, теперь уже больше про любовь. Как-то, поддатый, он прочитал их Деду во дворе. Дед оценил творчество, показал начинания соседа Витьке Новикову. Стихи напечатали, и так они подружились.

Свою поэзию Серёга считал баловством, главным для него был бизнес. Тогда только-только позволили заниматься предпринимательством, и Серёга по-быстрому сообразил: тут можно

хорошо заработать, — и открыл кооператив. Полуграмотный бухгалтер Анжела, больше года её нигде не держали, спившийся художник Пономарь да два бичеватых работяги под чутким руководством Серёги, поэта-дробильщика, такова незамысловатая профессия была до этого у него на заводе, лили для народа всякую гипсовую хрень. Формы они где-то напи... дили, и из мастерской, сараюшки, когда-то принадлежавшей бомжам, но безжалостно изгнанным, как с конвейера, потком шли гипсовые распятия — на религию вдруг появилась мода, замысловато-узорчатые плитки для потолка — их, как горячие пирожки, расхватывали такие же, как Серёга, кооператоры, они возводили особняки, и их надо было сделать красивыми. Обиженные бомжи несколько раз хотели отомстить проклятому буржую, пытались поджечь сараюшку, но Серёгу не зря больше знали как дробильщика. Если кто его трогал, хоть словом, хоть делом, он резко отвечал: раздроблю, — и, не раздумывая, дробил кости посягнувшим на его личность, тем более на дело. Бомжи, подальше от греха, перебрались вообще в другую часть города.

До Ирбы было совсем близко, как Серёга неожиданно сбросил скорость, хотя не любил этого — ласточка не имеет права плестись, она должна рассекать пространство.

— Смотри, вон партизан какой-то.

Из черёмухового колка двигался высокий мужчина, он хотел побыстрее, но часто запинался, сбивался на короткий шаг. Шёл он наискосок в нашу сторону, явно заслышав автомобиль. Над головой мужика, точно маскировка неведомо от кого, торчал и трепыхался травяной веник.

Мужчина поднял руку, помахал, и Дед узнал его — это был отец.

— Серёга, тормози, это батя.

Вышли из машины, закурили. Отец был бледен, улыбался растерянно, как будто был виноват в том, что остановил.

— Тanya попросила травы пособирать. Она сейчас только ею лечится.

— Рано ты что-то вышел.

— Знаешь, сынок, — и с чего бы это? — подумал, что умру сегодня. Упаду в траву, и не найдёт никто. Мыши обгрызут до косточек.

— Батя, ты чего? Рано тебе о смерти.

— Сам не знаю. Подумал вот...

Рюкзак с травой зачихали в багажник. До села ехали молча. Мать дома засуетилась, усаживала покормить, но Деду хотелось побыть с отцом наедине.

— Пап, а давай на реку съездим, искупаемся. Сто лет в нормальной воде не был.

Отец вопросительно глянул в сторону матери.
— Поезжайте, чего уж там.

По дороге остановились у гастронома, взяли бутылку водки, колбасу, сыр. Серёга решил сгонять

.....
2. Стихотворение Сергея Мамзина.

в книжный: вдруг в селе что путное найдёт?—а может, просто догадлив был, видел, что мы хотим вдвоём побыть.

Июньское солнце уже набрало силу, пронзительно-хлесткими лучами прогоняло с искрящейся поляны росу. Отец сразу разделся, он был в длинных чёрных трусах, высокий, худой, и они казались большими, не по размеру. Я скинул футболку, джинсы.

— Ну что, батя, пойдём. Потом по маленькой.

С разбега сразу нырнул. Холодная вода встрепнула, чуть проплыл и оглянулся. Отец зашёл только по колена и плескал на себя, как драгоценными камнями, осыпал сверкающими брызгами, растирал ладонями грудь, живот. Видно было, он наслаждался, как бы знакомился с рекой, на которой вырос, а сейчас вдруг боялся то ли потревожить её, то ли обидеть.

— Хорошо!— крикнул я, хлебнул воды и закашлялся.

Отец не ответил, присел в воду, и только сейчас я заметил на затылке у него проплешину. Лысина была какая-то навязчиво жёлтая и как бы аккуртно выбрита. Стало жалко батю, будто он неухоженный ребёнок, большой и нескладный.

— Как ты на пенсии, не скучаешь?

— Чего скучать? Огород, мать совсем больна.

— К Стекольникову ходишь?—это наш сосед, столяр, с деревом как с любимой обращается, вся мебель в нашем доме—его рук дело.

— Уже год как умер.

— Пойдём помянём.

Вот и Серёга вернулся, мы двинули в обратный путь. По дороге встретили автолавку, в очереди одни мужики.

— Портвейн дают,—определил отец.—Остановись, возьму бутылку. Водку я сейчас не очень.

— Батя, тут больше часа стоять.

— Я фронтовик, меня все знают. Без очереди возьму.

И правда, отец только подошёл, поздоровался с одним, другим—и толпа расступилась.

«В городе такого бы не случилось»,—подумал и вспомнил горбачёвские очереди за водкой: какое там фронтовик, безногого не пропустят, кто помоложе—по головам лезут, поубивать готовы друг друга. Злоба, одна злоба. Встрепенулся: и я вот сию—барин.

Вскочил из машины, протолкался к отцу.

— Батя, бери ящик. Я заплачу.

Отец растерянно и просяще посмотрел в толпу.

— Костя, это сын твой? Пусть берёт.

Мать дома причитала, что совсем не посидели, но мне ведь хотелось всего лишь увидеть отца, да и надо было торопиться дотемна.

— Приезжай через месяц. Огурцы пойдут, помидоры. У вас же там всё химическое, с отцом по клубнику сходите, угостишь Сашеньку, я уже

и не представляю его. Привёз бы. А клубника у нас помнишь какая?..

Как её забудешь, большую чашку вареников с клубникой за раз съедал, мать не успевала лепить. Макнёшь его в сметану, а сок рубиновый по пальцам, пчёлы зудят вокруг, тоже попробовать хотят.

Отец вынес бутылку портвейна.

— Возьми с собой, мне и так много.

— Батя, не пью я его.

— А ты выпьешь и меня вспомнишь,—обречённо как-то сказал он.

Тогда я не придавал значения этим словам, а он как напороочил. Утром следующего дня пришла телеграмма: «Папа умер».

Бутылка «Агдама» так и стоит у меня на книжной полке. Этикетка выцвела, посерела, а вышить никак не решусь.

Хоронить отца людей пришло немного. Родных у него почти не осталось. Дядя Коля застрелился, он отвоевал лётчиком корейскую, потом спецслужбы его прятали, чтобы не разболтал непонятно какие секреты, вот и пустил он себе пулю в живот на таёжной заимке. Младший брат, дядя Володя, неожиданно разбогател, жена была завмагом, и смылись они в Крым—видать, за решётку не хотели. Дядя Вася, старший, спился и голосу не подавал, где он. Вот и пришли соседи да несколько шоферюг—батя почти всю жизнь проработал, или, как говорил он, отмантулил, заправщиком на автобазе. Старые водилы, уже тоже пенсионеры, уважали отца, он их понимал и всегда литров пять лишних умудрялся залить в бак. Отцу они не говорили спасибо, иногда молча куль комбикорма забросят—зимой свинью чем-то кормить надо, один раз даже мешок семечек подогнали. Вот радости-то нам, ребятне, было!

Отец никогда не был строгим, а в гробу выглядел сурово, будто наказывал всем: не торопитесь к нему, живите, мол, и радуйтесь.

— Может награды ему на пиджак? Пусть покрутится,—спросила мать.

— Не надо. Он и при жизни их не носил. Можно, возьму их на память?

Наград у бати было всего три. Бестолковая, по его словам, медаль «Ветеран труда»—это вручили, провожая на пенсию, медаль «За победу над Германией» с профилем великого вождя и орден Красной Звезды—награда нашла героя, но про это особый рассказ. Меня сейчас больше тревожило и волновало, как отец, от кого узнал день своей смерти. Утром сказал, а вечером ушёл. Вспомнилась и смерть деда Александра, ведь он тоже наверняка знал, приготовился, только не сказал никому, поберёг как бы. Смерть, наверное, главная загадка: куда-то же мы уходим. Не случайно об этом знали и дед, и батя. Спокойны были, ни слёз, ни истерик, выполнили отпущенное—и в вечность. А может, к Богу, уже сам себе сказал я.

Отцу было восемнадцать, когда началась война с немцами. Первым ушёл Василий. Мать видела, что и Костя рвётся, но тормозила, пока курсы бухгалтеров не закончит, а он получил корочки и в тот же день написал заявление добровольцем. Из Ирбы направился в Красноярск, несколько месяцев учили на пулемётчика да рыть окопы, а потом и на передовую.

Ещё пацаном Сёмка нет-нет да и просил отца рассказать о войне. Но тот отмалчивался: ничего там хорошего нет. Смертоубийство одно.

— Папа, а ты хоть одного немца укокошил?

— Не приглядывался. Может, и попал в кого.

— Расскажи маленько.

— Пойдём лучше на звёзды смотреть.

Они выходят на крыльцо, новенькое, ещё пахнет смолой; отец по весне раскатал их хибару на дрова, а летом поставил дом. На жарком солнце сосновые брёвна обильно покрылись каплями смолы, как бы вспотели, и дом засверкал, словно золотая игрушка. Мать несколько раз брала Семёна за руку, они отходили в сторону и любовались новостройкой. — Смотри, сына, видишь семь звёзд? Это Большая Медведица.

Мальчишка разглядывает сияющий купол, но никакой там медведицы.

— Где она?

— Вон, на ковш похожа.

Но у ковша ни лап, ни хвоста — какая это медведица?

— Это учёные люди так назвали.

Никакие они не учёные, думает мальчишка. Обманывают зачем-то.

Отца с его сковородой, так он назвал ручной пулемёт Дегтярёва, прикрепили к разведчикам. С этой убойной штукой он должен был прикрывать отход роты.

Несколько дней батарея не могла взять небольшую возвышенность, уж больно плотно засели немцы. Только вперёд, они лупят как оглашенные. Много пацанов наших там положили. Командиры обмозговали и решили отправить разведку боем, а чтобы засечь огневые точки фрицев, всё провернуть ночью.

Уже совсем близко были немецкие окопы, даже слова их какие-то дурные доносились, как татарин Руслан — бойцы пограмотнее подъё...вали его: где твоя Людмила? — на что он обиженно отвечал: у меня Фаруда, а не Люда, она меня ждёт, — так вот, Руслан запутался в колючей проволоке и как заорёт, мешая русский с татарским:

— Шайтан, куберды буберды, нога, бл...дь, помоги, Аллах! — да визгливо так кричит.

Ну а немцы не совсем уж идиоты, они каждую ночь ждут наших. Запустили, сразу и не сосчитать, ракеты осветительные и как лупанут из пулемётов-миномётов.

Рота назад, не до Руслана им. Командиры, конечно, засекали огневые точки, а батя со сковородой остался. Сколько он их разогрел, не считал, щедро покормил фрицев, да вдруг так долбануло, что очнулся только в лазарете. Ничего не помнит, голова забинтована, только один глаз видит.

Уже потом, двигаться когда начал, рассказали ему. Высоту, конечно, взяли рано утром, раненых и убитых вынесли. Покаленных — санитарам, неживых — в общую яму и закидали бы чёрной от горя землёй, пусть отдыхают от этого ада, может, хоть там их встретят по-человечьи, теплотой и заботой, но солдатик с лопатой окурков щёлкнул в разверстую пасть могилы да как закричит: — Шевелится там! Шевелится один...

Убати полчерепа было снесено осколком мины, но жизнь, как собачонка бездомная, привязалась, не хотела его отпускать.

Вытащили отца считай что мёртвым, и молодой хирург, которому показался холодеющее тело, великим экспериментатором мог бы стать, а может, и стал. Всё, что есть у Деда, сейчас бы отдал, ничего не пожалел, чтобы разыскать доктора того и упасть на колени. Но под резолюцией из санбата фамилии нет, только длинная заковыристая подпись. Эту подробную резолюцию отец хранил, сейчас она у меня, писана коричневатými с красным отливом чернилами, будто запёкшейся кровью.

Хирург вырезал у отца ребро, распилил на три части, дырку в голове обеззаразил спиртом, скорее всего, и поставил рёберные косточки на место страшной раны. Месяц отец отлежал как полено, кровоточила рана, гноилась, хирург каждое утро к нему первому подходил. И вот батя шеvelyнул вначале ногой, потом и рукой, а тут уже и закурить у соседа по койке попросил.

Через полгода отца комиссовали, левый глаз, правда, видел плохо, и рука левая как бы непослушной стала. Да ничего, вытащил его к жизни, как безнадегу из мёртвой трясины, хирург, отчаюга рисковый.

Домой отец возвращаться робел: целый год провоевал, а даже медалюшки завалющейся не получил. Был, правда, один раз перед строем представлен к медали «За отвагу», уже после четвёртой или пятой разведки, но так и не была она вручена — наверное, во фронтовой неразберихе затерялись бумаги. И только через семь лет после войны словно опомнились в штабах, грехи решили замалывать. Вызвали отца в военкомат, и подполковник Тарасов одной рукой, вторую потерял в мясорубке военной, похлопал по плечу и вручил орден Красной Звезды. Напились они тогда с военкомом и задружили. В районной газете «Правда Ирбы» ровно за день до смерти Сталина появилась заметка «Награда нашла героя». Потом батя ещё много раз встречался с полковником, получал юбилейные медали, но их наградами он не считал,

они, наоборот, как бы жалили в больное; конечно, выпивали с Тарасовым, но так, как в тот раз, уже не напивались.

Внук Санька стал совсем большим, к Деду заходит всё реже, только чтобы денег стрельнуть или предупредить, что вернётся поздно. Вот и тогда зашёл, но молчит, испытующе смотрит.

— Вымахал-то, на голову выше меня.

— Гены, Деда, от них никуда.

— Какие гены? Мать как сморчок, да и я не сильно-то.

— А отец у меня какой?

— Вспомнил, — Дед вздрогнул от вопроса. — Вроде высокий.

— Дед, посмотри вот. В журнале «Искусство» прочитал, — рука у внука была за спиной, он разогнул её и протянул.

Журнал был раскрыт на статье, которую предвараля большая цветная репродукция человека. Мужик, это бросилось сразу, в какой-то нелепой обуви — и не ботинки, и не калоши, какие-то растрёпанно-разношенные чуни, в телогрейке, распахнутой на голой груди, корявые скрюченные руки воздеты, и лицо усталое, измученное, тоже — в небо. В глазах — и вопрос, и крик. А совсем высоко — недосыгаемое солнце. Аспидно-чёрное, мерцающее всеми оттенками черноты, будто из вороньего крыла скроено. И лучи у солнца — чёрные стрелы, не достигая земли, ломаются, а человека отчаянно вопрошающего, они огибают плавно. — Невесёлая картинка, — Дед с подозрением посмотрел на внука.

— А ты подпись читал?

— Грузчик Бурмата, — обречённо произнёс Дед.

— Это мой отец, что ли? Или однофамилец?

— Я его видел всего раза три. Похож маленько.

— Я тебе давно говорил, фамилию хочю поменять.

Это как сделать?

Оказалось, это не так просто, но молодёжь упёртая: через месяц внук показал новый паспорт. — Золотарёв Александр Семёнович, — гордо произнёс он.

— А Семёнович-то почему? — лицо Деда от счастья даже помолодело.

— Не тот отец, кто породил, а тот, кто вырастил. Правильно я говорю... папа? — внук видел: с дедом что-то не то, что-то надо, что-то ещё. — А может, обмоем это?

— У меня нет ничего. Сгоняй в магазин. Я денежку дам. Хотя нет, пошли вместе, — сейчас расстаться с внуком он не сможет.

— Вон же у тебя есть, — Сашка показал на бутылку «Агдама» на книжной полке. — Винцо выстоялось. Сколько помню, она у тебя.

Зойке сын не сказал о перемене фамилии, да и узнает она об этом, наверное, только когда он в институт пойдёт или в армию призовут. Странно:

беда придёт — маму зовём, на Бога надеемся, но Дед точно не помнит, чтобы он был близок с матерью, отец хоть на звёзды посмотреть ещё младенцем выносил его. Первый раз это случилось, когда дома не было, жили в халупке, почти в землянке, дым из трубы выходил строго вертикально в морозное небо, и малышу казалось, что по этому столбу можно вскарабкаться к мерцающей и маящей всеми тайнами вышине. Отец подолгу смотрел на небосвод, прижимал сына всё плотнее к груди, маленький Семён хорошо слышал его сильное сердце и своё крошечное, оно тикало как часики, а отец всё смотрел, почти не дыша, молчал. Я люблю тебя, хотелось сказать малышу, но он тоже молчал, будто боялся нарушить это единство отца, неба и Семёна. Уже сейчас, вспоминая, Дед подумал: а ведь этот небосвод у бати был как алтарь, только знать бы, кому он тогда молился...

Картинка про Бурмату заинтриговала Деда, но, кроме названия её, имени художника и того, что она была продана на аукционе в Лондоне за большие фунты стерлингов, из статьи он больше ничего не узнал. Единственная возможность — редакция, повидаться с Витькой Новиковым, один раз он уже выручил.

— Старик, у тебя вопрос?

— Ты же на культуре сидишь, про художника Антона Иванова что-нибудь знаешь?

— И ты про Антона? Он теперь не Иванóв, а Ивáнов, — сделал непривычное ударение Витька. — Давай выпьем, иначе хрен что узнаешь.

— Кроме выпивки, у тебя ничего, — уже соглашаясь, буркнул Дед.

— Алкоголь и женщины — двигатель прогресса.

Витька открыл сейф, коньяк он держал в нём, чекушка водки для случайного гостя была всегда в столе.

— Антон, кто такой Антон? Об него ноги вытирали. Формалист-модернист, а то и придурком называли. Всю жизнь был просто Ивашкой, и вдруг — Иванов. У наших мэтров кровь из зубов пошла, жаба их душит, несчастных.

Картины художника Антона Иванова на выставках рубили, заслуженный мастер кисти Полушин на одном из собраний даже предложил забрать у сраного абстракциониста, правда, с трудом выговорив это мерзкое слово, мастерскую, лишить его членства в Союзе как не оправдавшего надежды, льющего воду на чуждую идеологическую мельницу, вон впереди ещё сколько молодых одарённых, не до пенсии же им в очереди топтаться... Скорее всего, Полушин желал, мечтал об этом, подолгу не мог уснуть — он хотел получить звание народного. Не за горами смерть, и хорошо бы уйти всенародно любимым, посидеть во всяких президиумах.

Полушин сильно ошибся во времени, время было совсем другое. В этот раз готовилась очередная

зональная выставка. Антон принёс невинный натюрморт: на столе арбуз пополам, мякоть аж светится на солнце, семечко чёрное вот-вот выскользнет на льняную скатерть, а на краешке стола громадный, наполненный запахом весны букет сирени, даже не букет, а какое-то облако возждения, буйного начала всего нового.

Полушин первым тут же обрушился: как это может быть, сирень уже давно отцвела, когда созревают арбузы, у Иванова опять какое-то несоответствие реальности. Никто ещё не успел поддержать заслуженного, потом, наверное, крепстились не раз, как встал искусствовед из Москвы, куратор из Академии.

— Несовпадение по временам года—это же не главное,— сказал он, глядя как-то по-доброму, снисходительно и с улыбкой на Полушина.— Извините, как вас по имени-отчеству? Так вот, Яков Абрамович, в этом натюрморте главное—радость жизни. Она так и брызжет с холста, я бы порекомендовал его на Зону.

Что тут поделаешь—Москва, искусствоведа робко поддержали. Правда, на вечеринке после собрания, когда столичный гость ушёл в гостиницу, Полушин, изрядно приняв на грудь, бушевал, чего никогда за ним не наблюдалось.

— Ивашка херню какую-то принёс, а вы перед Москвой языки в жопу позасовывали. Бздуну, попомните, опозорит на Зоне нас эта сирень.

Полушин ещё не знал, что искусствовед из Москвы побывал в мастерской у Антона и художник, заметив, какие работы понравились гостю, подарил две картины. Каким уж путём одна из них попала за границу на аукцион, знает только проклятый Полушиным москвич.

Когда вышла статья искусствоведа в таком серьёзном, уважаемом, даже авторитетном журнале, да ещё и с репродукцией картины Ивашки, Полушин просто занемог, он так заболел, что месяц не появлялся в Союзе. Супруга Идея Павловна докторов знакомых приглашала, но те определить ничего не могли, заслуженный же больше всего боялся, что теперь кто-нибудь из собратьев осмеится подшучивать над ним, не дай Бог, ещё и злорадствовать. Бездари эти, им только повод дай...

— Ты-то, Витя, был у Иванова?—история эта Деду отчасти была знакома, с подобным не раз сталкивался.

— Был, конечно.

— Ну и как?

— Как, как? Замечательно, статью готовлю.

— А раньше чего? Отмашки не было?

— Дед, ты как всегда—вечный корректор. Ошибки всё ищешь.

— Не ошибки, Витя, ищу. Москвич бы не заступился, так и загнобили бы мужика. А как Антон с этим прощельгой Бурматой познакомился?

— Почему прощельгой? Он недавно из Канска прислал свои заметки. Занятная вещь, думаю, куда бы их приспособить.

— Почитать не позволишь?

— Потерпи, опубликую—прочитаешь.

— А картины у Иванова правда хорошие?

— Дед, это просто бомба. Статья когда выйдет, хочу одну выпросить. «Голгофа» называется. Ни разу подобного не видел.

— Может, сводишь в мастерскую? Интересно посмотреть. Да и узнать бы, как они с Бурматой сошлись.

— Думаю, просто. Оба детдомовцы, а у Бурматы ещё нюх на людей, не таких как все. Они просто сблизились. Антон мне рассказывал: засадят бутылку коньяка, а потом среди ночи орут во всё горло жиганские песни. Один раз даже милицию к ним вызывали.

Сломал во мне что-то этот рассказ Новикова. И за что я так невзлюбил Бурмату? За Зойку, что ли, обидно, за Саню? Нет, тут что-то другое. Ненароком себя увидел. Жизнь, почитай, прошла, а что я сделал? Самолёт сочинил, корабль построил? Даже печки сраной и той не сложил. А ведь для чего-то же выпустил нас Господь в свет, было же предназначение. Вглядывался плохо или просто трусил, сейчас и не вспомнить. Как кизяк проболтался в проруби, о ледяные края бился, иногда и до крови, больно, но не решался в чистую глубину, заглядывал туда—и оторопь брала от страха. Всё-таки бздел, значит... Вот Бурмата рискованый, тыкается куда ни попадя, но тоже всё без толку. А я просто плыл по течению, боялся разбиться о скалы. Но вдруг выкарабкался бы, пусть и поободрался, зализал бы раны и нашёл ту жилу с неизвестными кристаллами, которые искрились небесным светом только для тебя? Закончил филологический, а зачем? Чтобы ошибки в чужих текстах искать? Да и дед Александр, вспомнил вдруг с обречённостью, так и не сыграл на скрипке. Бессмысленно всё... Жизнь тупа, и не надо сопротивляться, отчаиваться. Но ведь батя же совершил разведку боем, а может, просто повезло ему, везёт же хоть раз в жизни некоторым. Хотя нет, он был готов. Не был бы готов, не остался бы прикрывать, запричитал бы, как татарин Руслан. Да и на фронт ведь его никто взашей не гнал, сам добровольно рванул. Может, только для этой разведки и выпустил его на свет Всевышний. А он видишь как—выполз из смертной ямы, да ещё и меня спроворил. Научил на звёзды смотреть. Все мы—просто ступеньки к вершине готовности. Батя родил меня, я—Зойку, бестолковую попрыгунью, ни одной книжки сыну не прочитала, ни разу не слышал, чтобы колыбельную ему спела. А может, это для того, чтобы одиночество, как стылый космос, укрепило и закалило Саньку?.. Уже дома зашёл к внуку.

— Саня, а ты вперёд-то хоть маленько смотришь?

— Это как, Дед?

— В будущее. Школу через год закончишь, а дальше?

— Дальше или институт, или армия.

— Неопределённо как-то. Кем хочешь стать, дворником или трубочистом?

Внук рассмеялся.

— В трубочисты бы пошёл, но нет сейчас такой профессии.

— Саня, я серьёзно.

— Серьёзно, Дед, — внук замолчал. — Серьёзно — я никем не хочу. Будущее — а какое оно, будущее? Вот у тебя — всю жизнь непонятно зачем ходил в редакцию. Пусть бы газета выходила с ошибками, это даже интереснее. А сейчас пучишься в телевизор и книги перелистываешь, в чужую жизнь лезешь, а свою на пустоту потратил. На мамку посмотри, будущее: она что, родилась и мечтала красить чужие волосы и ногти? Дед, мы все крепостные, мы рабы, у нас нет будущего. Есть прошлое, которым вы гордитесь, есть бессмысленное настоящее, как говорит мать, бытовуха, а вот будущего нет.

— С такой установкой тяжело тебе будет.

— А кому сейчас легко? — хохотнул внук.

Вот и вечер. Зойка пришла с работы или от подруги. Закрывается в своей комнате, врубает на всю катушку музыку, какую-то нерусскую дрянь. Знала бы хоть маленько язык их, тогда понять ещё можно, а так только фон, чтобы подрыгаться, и сейчас танцует она, слегка поддатая, сразу заметил, отчаянно и плохо, но ведь никто не видит, или же просто курит, пристально вглядываясь в тёмный пустынный двор. Что она там ищет? Дворовые алкоголики давно разбрелись. Может, в тёмном квадрате песочницы хочет увидеть себя ребёнком, беззаботно играющим с совком и ведёрком?..

Зойка вошла неслышно, я даже вздрогнул. Она плакала.

— Папа, а зачем меня мать ударила тапком по голове? Я же ничего дурного не сделала, просто играла.

— Зачем ты плохое помнишь? Она, наверное, устала, её раздражал твой шум.

— Я совсем тихо играла.

— Ну, это тебе казалось — тихо.

— Это было так давно, а почему я помню?

— Надо уметь прощать. Матери уже давно нет с нами. Прости её.

— Я простила, а всё равно помню.

Дочь уходит, а Дед вдруг ни с того ни с сего представил страшных людей которые едят камни. Округлые валуны, угловатые, с острыми выступами, булыги. Скрежет чудовищный, летят искры, осколки, жалат больно, но страшные люди никак не могут насытиться.

Всё, чертовщина лезет, пора спать. Дед курит на балконе, потом законных три стопки без закуски,

чтобы достали, и укладывается лицом к стене — так быстрее забывается.

Дремота не идёт, Дед видит себя на небе. Высоко среди звёзд он летит метеоритом, он не хочет миновать Землю, нельзя же просто сверкнуть и погаснуть. Далеко внизу уже видна несуществующая халупка-землянка, отец на крыльце чиркает спичкой, прикуривает — это он подаёт сыну знак, куда держать направление. Дед размахивает руками: ну хоть кто-нибудь помогите! Всё тщетно. Проваливается в дико кричащую, визжащую от боли, безумно хохочущую, рыдающую взахлёб, всё поглощающую без разбора бездну. Эта безжалостная пасть не смыкает свои челюсти никогда, пути назад нет.

Ну вот и всё, думает Дед. Дождлся. Ухожу. Расказал что смог, что успел. Не судите, это и было моё. До свидания.

Утром Дед уже не встал. Он умер во сне, никого не потревожив. Как и дед его, как и отец. Он легко покинул земной мир. Вот ведь как странно, приходим мы, вскрикивая и плача от испуга и удивления: надо же, куда нас закинуло из тёплой матери, — а уходим тихо, зачастую и не прощаясь. Встретили светом, улыбками, словно обещая и обнадёживая, что на всём пути будет радуга, но чем дальше торилась дорога, тем согбеннее и мрачнее был человек. Может, только после ухода будет светло и чисто, как в детстве? Мы ещё встретимся. Обязательно встретимся.

Дед избавил родных от многих проблем с похоронами. Когда вскрыли конверт с завещанием, там всё подробно было изложено. Оказывается, место на кладбище давно куплено, даже клумбочку он соорудил, странную, правда, растут на ней крапива да лопух, чертополох и белена, конопля и ещё какая-то дурнина. По углам будущей могилы топорщились крохотные кедрушка и пихта, это в головах будет, а в ногах — кустики калины и рябины. Гроб и крест тоже не надо было заказывать. Валерка-столяр, давний друг Дедов, по его чертежу и точно по размеру соорудил это из морёной лиственницы. Просто всё, без излишеств, правда, неподъёмно тяжело. Коричнево-жёлтая в обеденном пронзительном солнце домовина Дедова походила на золотой слиток. Когда гроб на плечах понесли к могиле, он плавно покачивался и уже казался лодкой из дорогого металла.

Санька не знал, да и никто не знал, что всё это — благодаря прадеду, в честь которого назвали его. Тот успел внуку Сене наказать перед смертью: «Подрастёшь, семьёй обзаведёшься, дом надо будет ставить, на нижние венцы бери листвен, стойкое дерево, жук его не берёт и от воды не киснет. Листвен — это наш дуб сибирский». Вот и не послушался Дед, дом не срубил, он у него железобетонный, зато домовину, как и завещано, приготовил.

Не горюпясь шла процессия. Впереди Санька с венком, сам выбирал, не на величину смотрел, а на убранство. Он знал, что Деду должно понравиться. Дед больше всех других любил цвета сиреневые, а в этой гамме всего один веночек и был, может, и его Дед заранее заказал, но это было бы уже совсем чудом.

Следом за Санькой шли Зоя с подружкой, они и здесь болтали о чём-то без умолку, хихикали. Саньку это раздражало, он чувствовал себя никому не нужным: вроде и при матери, а как сирота. Был в процессии и Витька Новиков, он шёл с диктофоном и бурчал что-то в него, наверное, чтобы не упустить деталей, он ведь потом напишет в газете заметку о доблестном ветеране редакции.

А Дед от всех них был ещё недалеко. Он парил рядом, большие облака огибал, в мелких прятался на мгновения. Не то чтобы ему интересно было, он взирал на всё равнодушно, как бы присматривал за порядком. Сейчас он помнил всё, что было с ним, и до мельчайшей капельки, память его была безразмерна, но так же явственно хорошо знал он, что будет со всеми, кто идёт его провожать, даже и с теми, кто не смог отдать последний долг.

Ещё живой, за день до смерти, вроде и не знал о ней, но хотел попросить Зою пригласить на похороны — когда-то же они будут — Бурмату, чтобы пусть и не словесно, но на другом уровне примириться, но догадывался, как дочь может ответить: «Ещё чего не хватало». А сейчас он уже знал: Бурмата всё равно не смог бы прийти. Незадолго до смерти Деда он уволился из театра и стал работать диджеем в Доме культуры, это сманила его смазливая директриса; над немолодым диджеем похихикивали, да он и сам толком не разбирался в новой музыке. Вот «за туманом» бы или «льжи у печки стоят», есть ещё «всё перекаты да перекаты», но ни девчонок, ни парней это не трогало, да они этого понять бы и не смогли, директрисе же, оказалось, кроме мужика, нужны были деньги, а их у Бурматы отродясь не водилось, не умел он их складывать. Люба тоже охладела к его мудрым путаным речам, и Бурмата, собрав в рюкзачок только ворох своих заметок, никому не сказав ни слова, ушёл в тайгу. Может, геологию вспомнил. Его нашли в ближайшем зимовье быстро. Избушка была ещё тёплой, Бурмата лежал на нарах, худой и красивый; как Иисусик, — увидев его, сказал пожилой мчэсовец. Толик, похоже, не обратил внимания на голубые блики угарного газа и задвинул заслонку трубы, так все решили. Но Дед-то знал: всё было совсем не так. Толик и правда закоченел, пока добирался до укрытия, а когда согрелся у приветливой печки, вдруг решил почитать свои записи, но уже первый листок вызвал какую-то брезгливость, почти тошноту, и он без сожаления сунул рюкзачок в печь, плотно закрыл дверцу. Он понимал, что закрывает её навсегда. Пламя вспыхнуло

ярко, но как-то быстро бликов его стало не видно, будто что-то мелкое и пустяковое обратилось в пепел. Бурмата встал и твёрдо втолкнул задвижку трубы. В золе потом следователи нашли только пряжку рюкзачка и красивый камень. Его всегда носил с собой Сиротинин, это была дружба горного хрусталя с еле заметным фиолетовым отливом. Миллион лет назад она хотела превратиться в аметист, но не успела, а может, передумала — магма же остывает не так, как мечтается аметисту.

Дед делает ещё один взмах, второй, третий и видит уже всю необъятную ширь. В океанах — какие-то игрушечные корабли с пушками, в тёмно-фиолетовой глубине неуклюже, как гусеницы, шевелятся подлодки, картонные самолётики над волнистой гладью, а по берегам по всему пространству муравьиные холмики мегаполисов пульсируют сотнями тысяч сердец. Но не это он хочет увидеть. Круг за кругом Дед вглядывается: ну вот же, вот они, на лавочке рядом с песочницей — Бен Ладен и Мишка Розенбаум.

«Ушёл Дед, — вздыхает Бен Ладен. — Пятёрку-то ему я так и не отдал». — «Давай лучше помянём, — Розенбаум достаёт из травы бутылку, на горлышке которой, как шляпка гриба, пластиковый стаканчик. — Он нас простит, я знаю».

И здесь всё ладом, порядок. Легко, почти без усилий Дед удаляется. Вдруг неизвестно откуда, наверное, из тех мест, что покинул он, — только каким образом это? неужели кто-то дёргает его назад? — пришла песня: «Как прекрасен это мир...» Дед не знает, придётся ли ему ещё раз увидеть земное чудо, и просто бездумно парит над твердью, изумляясь её красоте и совершенству. Есть там, конечно, неполадки всякие, думает он, закавыки сложные, но ведь справятся, не все же, как я, бестолковые. Вздохать легко, пахать надо. И точно, вон на бахче стоит Избилло с мотыгой. Утомлённый, он смотрит в небо — то ли выглядывает чего, то ли просит нещадное солнце хоть чуть сбавить обороты. А вокруг полногрудые арбузы, дыни золотом брызжут, на кустах опалово мерцают алыча. А вот и Баргигуль, она выходит из глинобитного домика в ярком атласном халате. В руках запотевший кувшин — значит, скоро любимого она напоит прохладой. А оттуда, где серебрится арык, доносится детское лепетание, смех, как колокольчиками кто-то балуется. Конечно, это резвится выводок Избилло и Баргигуль.

Ещё несколько взмахов — и Дед видит: на кладбище тоже идёт всё ровно. Комья земли уже долбят по листовничной крышке, словно разбудить хотят. Глупенькие, всё это тщетно, он уже безвозвратно далеко. Санька стоит в стороне, одинокий, потерянный, он не знает, что там впереди, что его ждёт, но чувствует страшную потерянность, хочется заплакать, может, легче станет, но слезинки не получается выдавить.

Весь в прадеда, весь в меня, весь в нас всех. Мы же ещё встретимся, я всегда буду рядом, время — оно только кажется длинным. Вот говорят: время летит. Нет — оно просто летает, не подчиняясь никаким законам. Из прошлого в будущее, из будущего в настоящее.

Утро, день, вечер, а вот уже и ночь, бархатный саван с блёстками звёзд. Дед почти слышит, как его ждут, волнами находит эта нетерпеливая любовь и нежность. Он взмывает выше и видит впереди, на обресе горизонта, деда Александра со скрипкой. Он держит её высоко подняв над головой, она мерцает золотым нимбом, дед не касается её смычком, она поёт сама обо всём, что было, что есть и что будет. Бабушка Олёна обеими ладонями прижимает к груди чугунок с какао, так же бережно она держала, обнимала внука, когда он разорил гнездо ласточки. Хорошо же всё, доносилось Деду, прожили мы ладно, слава Господу. А вот как они там без нас?

Всё ниже, ниже опускается Дед, уже почти пикирует к родному теплу и видит: на холм этот призрачный нетерпеливо и уверенно поднимается прадед Спиридон, отец Константин, матушка Татиана и ещё кто-то незнакомый, а может, и знакомый, просто от волнения он разглядеть не может. Я вернулся. Я дома.

В день похорон Деда в местной молодёжке под заголовком «Дневник постороннего» были опубликованы заметки Бурматы с предисловием Витьки Новикова. Ни Зойка, ни Санька о них бы никогда и не узнали, если бы не Анчоус. У Аньки тогда приключился роман с дворовым мажором и пьяницей, но зато сыном состоятельных родителей, Васькой. Васька каждый вечер встречал любимую с букетом, и они уносились в роскошном «Порше» в укромное место, чтобы насладиться друг другом. И в этот раз, надо же такому случиться, денег на букет не осталось, резко подорожал кокс, и тогда Васька, проезжая мимо какого-то революционного памятника, краем глаза увидел у постамента цветы, резко тормознул, сгрёб охапку роз, прихватил валяющуюся рядом газету и спрятал в неё свой криминал. Так букет, обёрнутый местной молодёжкой, уже после полуночи оказался на кухонном столе у Аньки. Утром она хотела скомкать газету в мусорное ведро, но увидела на фотографии знакомое лицо. — Погоди-ка, это что же, Сиротинин, что ли?

Оказалось, целую страницу занимали заметки Толика Бурматы. Анька не стала их читать, но газету аккуратно расправила и потом, при встрече с подружкой, с невинной улыбкой вручила её Зойке. — Ни хрена себе, он ещё и писатель, — Зойка сунула газету в сумочку и только перед сном вспомнила.

Вначале с любопытством, а потом уже насто-роженно стала читать, заканчивала же с необъяснимым чувством страха и одиночества. «И чего

ему надо было? Я ведь, кажется, любила его... Кажется...»

Зойка вошла в комнату к сыну. Санька сидел за компьютером.

— Ну ты как, орёл?

— Нормально. С другом общаюсь.

— Не сиди допоздна.

— Мама, я большая.

Зойка вздохнула. Да, скоро и он её покинет.

Газету Зойка не выкинула, так и оставила на столе. Санька в поисках ножниц, конечно, наткнулся на неё, перечитал пару раз и даже кое-что записал в блокнот.

Когда шибко уж хорошо о себе подумаешь, когда влюбишься в себя, единственного, оглянись и посмотри на кучу дерьма, которую ты оставил. Ты такой же, как и все. Ну чем ты отличаешься от всех?..

В детстве я думал, что слоны спят стоя. Они мне казались такими большими — если лягут, то уже не смогут поднять своё тело. И вот этой маленькой детали мне хватало, чтобы представить Африку, ощутить всю её необычность. Иногда даже забывал о детдоме и подолгу «сидел» под пальмой, наблюдая за жирафами и слонами. Но больше всего мне нравились ягуары. Не знаю почему, но казалось, когда я вырасту, стану похож на них.

Оленевод в Байките рассказывал. В тайге все друг друга знают. И белка, и бурундук, и кедровка. У них свой мир. Приходит человек, они его принимают, если по-хорошему пришёл. Вот осенью пойдёт кто-то раньше времени хлестать шишку, кедровка услышит колот, скажет бурундуку, и они за ночь всю шишку зелёной обшелушат и унесут. Раньше такого не было.

Утро осени, которая почти стала зимой. Толпы людей давятся, спешат на работу. Все раздражены, гыркают друг на друга... До чего же жалок народ покорно идущий на работу, чтобы его лишили голоса, оскопили все его творческие потенции.

Многочисленное стадо кастратов. А те, что не поддались, выглядят идиотами.

Папа и мама, зачем вы меня выпихнули на белый свет, в эту то безнадежно сумрачную, то блестящую, как ёлочная игрушка, жизнь? Что я вам сделал такого, что теперь мучаюсь, то плыву по течению, то безжалостно бьюсь об острые скалы? Уже всё изранено, и не знаю, что дальше. Надеюсь, хоть *это* было у вас по любви. Это было как молния, так ведь? Она ослепила вас, и вы сотворили. Ну а то, что детдом, — это ничего. Но вот почему мир ко мне равнодушен? Ему всё равно, есть я или нет, он даже безжалостен, порой и жесток. А я всё

трепыхаюсь, надеюсь. Мол, природа подскажет, поможет, может, и выручит. Ни х...я подобного! Даже не моргнёт и не оглянется, когда я исчезну. Она будет упорно продолжать свой эксперимент с другими.

Прошедшую ночь видел цветной сон. Очень отчётливый, реальный. Будто не сплю, в комнате темно, и вдруг окно озаряется странным светом. Выскакиваю на балкон и вижу почти над головой вращающееся вокруг своей оси и медленно и бесшумно парящее на юг нЛО. Даже не оно вращается, а его ореол—оранжево-фиолетовый. Удивлённый, замер, и время моё остановилось. Объект медленно парил, и меня объял неземной восторг. Пришёл в себя, когда нЛО почти уже на горизонте, оно медленно таяло. Цветное пятно на чёрном фоне. И пришла глубокая жалость и грусть по чему-то недоступному, недостижимому, словно вечная истина спокойно и величаво прошла над тобой, а у тебя вместо смысла только ощущение осталось.

Давно заметил. Добрые люди беззащитны, они вызывают чувство жалости. Может, оттого, что где-то в глубине взгляд их несчастен и очень одинок. Добрые люди одиноки, настоящие друзья если и бывают у них, то очень редко. Всё это от затравленности, зла ещё много. И вообще—какое дикое время! Над добрыми людьми сейчас зачастую смеются, они—«странные», чудики, не умеют жить. А уметь жить—это значит всё под себя и ради этого идти на всё. Все нравственные понятия—в сторону, об этом только надо уметь говорить. Не внутреннему миру, а внешнему всё внимание. Главное—выглядеть. Суета, а в суете не заметишь, что там под оболочкой.

Отчего всё это и зачем? Что нас влечёт в этот дурман? Глаза открыты, а хуже завязанных. Бредём, спотыкаемся... Как взрослеем, так и слепнем постепенно. Многого теперь уже не поймём, не увидим и не почувствуем... Неужели так рано холодеет душа? Может, просто ненастье временное...

Недавно наблюдал в автобусе за людьми. Почти ни у кого, особенно у женщин, нет естественного выражения лица. Маски то заученные, возможно, перед зеркалом, то оставленные какой-то неведомой мне жизнью. Запомнилась маска высокомерного презрения. Она, наверное считается очень умной, а красоты Бог не дал... В деревне раньше такого не было, было естество, а сейчас и там, в глубинке, появляется. И ещё. Сколько в городе людей, а у большинства во взглядах одиночество, ищущее, отчаявшееся, высокомерное, забитое.

Почему всё созданное природой красиво? Потому что всё это—кристаллы. Кристаллы травы

и деревьев, кристаллы воды и ветра, кристаллы людей... Но кто же всё это огранил? Дурак и неуч всё-таки дедушка Дарвин.

— Скажи что-нибудь...

— Живые люди красивее мёртвых...

Сегодня на автовокзале. Мужичок весь пропитой, в зимнем пальто, в резиновых сапогах, с палочкой. На улице лето, июль шпарит. Мужичок подходит, вытаскивает из кармана руку, в которой держит мелочь. «Добрый день, дорогие люди. Подайте, Христа ради, милостыню бывшему фронтовику. Душу себе успокою и родных ваших помяну...» И смотрит хитро, нагло и печально. Двигает губами, словно жуёт что-то недоговорённое, потом кособочит рот, одна щека нелепо приподнимается. Всё это действие он смотрит вам прямо в глаза. В его взгляде всё: и жуткое похмелье, и тоска, и какой-то рискованной молодой задор. «Нет у нас, старик»,— говорит кто-то. «Дай Бог, чтобы было»,— и идёт дальше. Он уже далеко, а одна женщина, видно, деревенская, с сумкой покупок, всё поглядывает ему вслед и вдруг, отрешившись от городского наваждения, роется в кармане, отсчитывает мелочь и с тревогой поглядывает на удаляющегося мужичка. Хоть бы вернулся, наверное, думает. Может, вспомнила своих покойных родителей, и вот в чужом городе, среди суеты, кто-то предложил ей помянуть их, а она равнодушно отмахнулась. Предлагаю, как она долго будет вспоминать об этом.

Мать плачет по сыну—река течёт, а жена плачет—и росы не траве нету.

Идёшь по улице незнакомого города. И вдруг—как озарение: я здесь когда-то был. И это ещё одно подтверждение того, что от судьбы не уйти. Всё для нас запрограммировано. Кто-то ещё до твоего появления проходил по улице этого города, чтобы и тебя заставить здесь очутиться. Кто-то всесильный.

Апрель. Возвращаюсь в Канск. В вагоне до дому добираются бывшие заключённые. В чёрных мешковатых костюмах из холстины, стриженные, смотрят ещё не свободно, словно вокруг них запретная черта. Когда проходят по коридору, другие пассажиры смущённо замолкают, будто и их вина есть в том, что эти люди были в каком-то недобром месте.

Вот их уже не видно, а запах ещё стоит, запах одинокого мужского пота и дыма, сосновой хвои и лежалых тюфяков, сладковато-приторный, словно дурман.

На долгой остановке они идут в станционный буфет. Молоденькие, соскучившиеся по прежним детским забавам, они покупают заветрившиеся серые вафли, сухие катышки конфет, с затаённым

недоверием бросают взгляд на дорогие бутылки коньяка и, прижав к груди свои жалкие, но необъяснимо дорогие кульки, уходят.

Господи, какая же доброта и ласка сейчас нужна, чтобы оживить их... Не будет человеческого тепла—и ожесточатся... Вот и исправили.

Мужики, не торопитесь умирать. Был я там. Ни х...я там хорошего нет. Трава одна растёт...

Девочки-модницы, современные, лихие. Успевают всё—и причёску изменить, и юбку подкоротить. В весёлой компании слушают какие-то нерусские песни, и танцуют под них, и едят, и разговаривают, и даже подпевают... Но отчего же поздно ночью, провожая по тихим улицам города подругу, поют вдруг громко, открыто, красиво и маняще «Сронила колечко» или про рябину, которая к дубу хочет перебраться?

Душа! Она не хочет мириться с насильственно насаждаемой культурой, и когда суета отступает, она напоминает этим девчонкам, бегущим к усреднённой, оглуляющей моде, кто они и на какой земле родились.

Вспоминал один знакомый. Собрались с товарищами по ягоду в тайгу на несколько дней. Уже всё готово, вышли за ворота, а что-то беспокоит, словно забыли или недоделали что-то, и тут мать, которая провожала их, говорит: «Ну, с Богом, ребята!» Спокойно так, легко, словно выдохнула. И ушли куда-то оцепенение и заботы, и проснулись дремавшие силы, стал ясен путь, и не тяготило расставание.

Время жизни... Не страшная ли это раковая опухоль, которая разъедает человека, незаметно и окончательно?..

Мы можем сконструировать, соорудить, а потом и взорвать царь-бомбу, уничтожив человечество. Всё под корень. Но не можем понять друг друга.

Число, цифра (в отличие от буквы) несёт в себе дьявольскую силу. Чем больше чего-то ты имеешь, денег, например, тем больше тебе их хочется. Так же и алкоголь, и наркотики. Увеличение числа. И человек разрушается. Число растёт, расцветает, а душа сохнет. И даже возраст, увеличение цифры лет, заканчивается смертью носителя этой цифры.

Я родился с возрастом «бесконечность». Когда-то наступит «ноль»—это абсолют, бесконечность.

Пусть будет так. Пусть ничего не будет...

Ты не веришь в существование Бога? Посмотри неравнодушным взглядом на любую травинку,

на любого жука—сколько красоты и гармонии в них...

Любовь—это безграничная вера, когда в человеке не сомневаешься, веришь ему даже больше, чем самому себе. Любящие фаталисты—они изначально несут в себе знак трагедии.

Сострадающая и нежная, всеохватная в своей любви русская душа—вот та тайна, что ведёт нас к постижению истины, и, может быть, в этом и есть главный смысл жизни.

Русская душа—как песня в ночи или звук колокола, кажется, остывающий, но не гаснущий, грустная и даже плаксивая,—есть ли где мерило твоей любви ко всему сущему?

Степь и колокол, небо и облако, ветер и солнце...

Человек ничтожен—аже живую травинку, червяка он не может создать... Создатель всего живого—всемогущ!

У каждой страны свои проблемы, и строить на этом своё счастье или хотя бы благополучие нечестно. Предательство равносильно духовной смерти. Можно человека силой выгнать из страны, но душа-то его чиста и свободна... Материя—это пшик, мираж, которым неразумный человек себя окружает. Душа—вот что должно быть главной заботой человека.

Пусть в грязи и лохмотьях, но дома. Чужеземный шёлк только тело рядит, а душу студит холодом равнодушия, цинизма и расчёта.

Человеку нельзя позволять получать столько, сколько он заработал, иначе начнёт рыпаться, возбухать, почувствует себя на что-то ещё способным, кроме заботы о дне насущном... Нищенская зарплата получше любых решёток и кандалов. Вроде и нету, и не прыгнешь. Грызёт извечная, неутрахающая тоска: а завтра как?

Санитар в психбольнице. Студент учился на историческом факультете. В больнице был больной, знающий учебники истории наизусть. Рассказывать-читать он их никому не мог, все отворачивались, и только санитар в свои дежурства приводил больного к себе и слушал истории. То ли предмет ему трудно давался, то ли некогда и лень было книги читать, да и ведь когда слушаешь, запоминается легче. «Ну, так на какой странице мы остановились? На сто третьей. Давай с неё и начнём». По первости санитар сомневался в знании и памяти больного и приносил с собой учебники, сверял...

Моя заветная мечта—посмотреть на мир глазами насекомого, корой лиственницы... Основной

источник неприятностей в тайге—собственный мудѣж; природа доброжелательна, но не явно.

Жизнь—это не то, что ты родился и существуешь. Родиться ты можешь и мёртвым, и появляется она в тебе не вместе с плачем от шлепка медсестры по попке. Жизнь есть дух, какой-то особый вид материи, ещё не познанный нами, как, допустим, время. Пока ты в чреве, тебя питает этим духом мать, ты—всего лишь набухающее в почве матери зерно. Но вот ты на воле, и Господь ли то или другие Небесные силы дают тебе строго отмеренную норму духа—жизни. И жить ты будешь ровно столько, сколько тебе дали жизни или как ты её умудришься тратить. И не зря говорят: жизнь из него ушла. Ведь это буквально. Кончилась материя жизни, осталась лишь пустая оболочка «я». Посему «я» и «жизнь»—совершенно разные понятия и вещи.

В детдоме меня пи...дили по левой руке, чтобы не рисовал ей, не брал ложку... А я и сейчас с левой руки стреляю. Я всегда искал такое место, где можно быть одному. Мозги никто не за...бывает...

Как хочется гармонии. А для этого надо совсем мало. Избушка в тайге, и обязательно на берегу речушки. И чтобы тёплая зима и белый глубокий снег. В пещурке трещат дрова, на стенах жёлтый свет от керосиновой лампы. Пахнет покоем и умиротворением. На столе Библия, нехитрая закуска и бутылка водки.

Вышел, покурил, раскрыл наугад Библию, но почему-то нашёл Нагорную проповедь, дочитал, обул валенки, надел тулупчик, шапку нахлобучил, притворил плотно дверь и побрёл по глубокому снегу к деревьям.

Искрится снег в лунном свете, обязательно должна быть полная луна, моргают чистые, как в детстве, звёзды. И больше ничего не надо. А вот и то, самое нужное, самое укромное место. Разгребаю ногами снег, чтобы до палых осенних листьев, до хвоинок, до моей последней простынки, усыпанной шишками, и укладываюсь поудобнее. Поджимаю ноги, под голову ладони—и краем глаза вижу мою последнюю звезду.

Мы потеряли красоту... Мы стали атеистами, которые не верят в существование добра, милости

и прощения. Мы стали расчётливы и холодны. «Весь мир насилья мы разрушим до основанья, а затем мы наш, мы новый мир построим...» Кто вы такие? Вы поставили себя выше Бога. Что вы можете построить, кроме железобетонных коробок?

Мы потеряли Бога, и пустота поглотит всё и всех. Хочется опустить руки и заплакать. Но сил нет, и слёз нет. Даже в детдоме так тяжело, одиноко и пусто не было.

Очень хочу посмотреть, узнать всё-таки, что там. Что же нас так пугает, а иногда и влечёт?

И скоро мне это откроется...

Согревающий и обжигающий огонь, уносящий пыль и палые листья ветер, бликующая струящаяся вода, дурманящий запах свежеспаханной земли, обнажённая зелень травы, успокаивающий сонный лепет листьев... Всё это должно быть со мной. Всегда!

В конце выделенных Санькой заметок торопливым размашистым почерком внук, как бы подводя итоги, написал: «Как же они похожи, Бурмата и Дед, как отец с сыном, только возрастом и различаются. Мучились, всё искали чего-то. Наверное, проще надо было жить. А вообще—кто его знает? Повзрослею и, может, тоже таким стану...»

От автора

И вдруг моё лукавство, мои фантазии, мои бесплодные потуги, мои ухищрения и какие-никакие способности, дарованные Господом,—до этого ничего не слышал, был весь в себе, весь в тексте вместе с Дедом, Бурматой и всеми, кто их окружал,—прервал голос из телевизора в соседней комнате: «А под завалами всё ещё остаются люди...» Голос диктора был ровным, спокойным, безучастным, равнодушным, холодным, правильным, но он это сказал: под завалами люди. Может, у них переломаны кости, может, им нечем дышать, может, они истекают кровью, может, жажда и голод—под завалами... А что делать с тысячами, сотнями тысяч, которые находятся под завалами лжи и предательства, обмана и воровства, неверия и просто тупости? Что делать с ними, несчастными? А может, всё это я выдумал, может, это басы не дают мне покоя?

Господи, помоги и наставь!